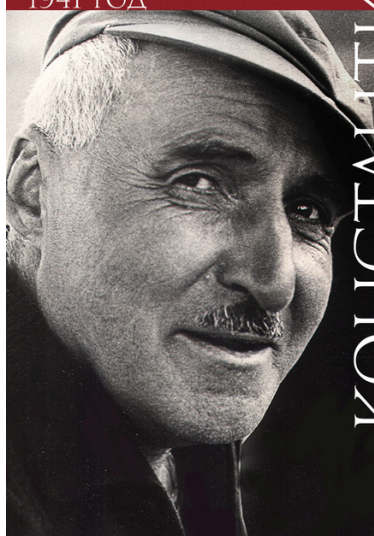


Письму тебе с Войны...



РАЗНЫЕ ДНИ ВОЙНЫ
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ
1941 ГОД



КОНСТАНТИН
СИМОНОВ

Константин Симонов

**Разные дни войны.
Дневник писателя. 1941 год**

«АСТ»

2016

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Симонов К. М.

Разные дни войны. Дневник писателя. 1941 год / К. М. Симонов —
«АСТ», 2016

ISBN 978-5-457-07404-0

В качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда» К.М. Симонов объездил во время Великой Отечественной войны многие участки фронта. Все, чему стал очевидцем, он стремился запечатлеть в своих дневниковых записях, которые в послевоенные годы литературно обработал и прокомментировал. Перед вами страницы дневника Константина Симонова, посвященные первому, самому трудному году войны – 1941. Они позволяют погрузиться в водоворот событий на полях сражений и в тылу, увидеть непростые будни военных корреспондентов. Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей Великой Отечественной войны, советской литературой и публицистикой этого времени.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-457-07404-0

© Симонов К. М., 2016
© АСТ, 2016

Содержание

От автора	6
Глава первая	8
Глава вторая	23
Глава третья	42
Глава четвертая	57
Глава пятая	72
Глава шестая	84
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Константин Михайлович Симонов
Разные дни войны.
Дневник писателя. 1941 год

© К.М. Симонов, наследники, 2016 г.

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2016

Все права защищены

* * *

От автора

Подзаголовок этой выходящей сейчас в двух томах книги¹, определяет ее характер. Она – не мемуары профессионального военного и не труд историка, а именно дневник писателя, своими глазами видевшего какую-то частицу событий Великой Отечественной войны. События эти были необъятно огромны, а круг моих личных наблюдений весьма ограничен, и я достаточно хорошо понимаю это, чтобы не претендовать на их полноту.

Следует добавить, что моя работа тех лет выходила за рамки обязанностей военного корреспондента «Красной звезды», и в книге речь пойдет не об одних фронтовых поездках, но и о писательской работе.

Наиболее подробные записи связаны у меня с началом и концом войны, с сорок первым и сорок пятым годами. Записи за сорок второй, сорок третий и сорок четвертый годы иногда довольно подробны, а иногда носят отрывочный характер. Следы некоторых поездок на фронт остались только в корреспонденциях, печатавшихся в «Красной звезде» и «Правде», в копиях репортажей, которые я посылал через Информбюро в Америку, и в скорописи фронтовых блокнотов. Я хорошо понимал, как важно для писателя вести военные записи, и, пожалуй, даже преувеличивал их значение, когда, отвечая во время войны на вопросы Американского Телеграфного Агентства, писал: «Что касается писателей, то, по моему мнению, сразу же, как кончится война, им нужно будет привести в порядок свои дневники. Что бы они ни писали во время войны и как бы их за это ни хвалили читатели, все равно на первый же день после окончания войны самым существенным, что они сделали на войне за войну, окажутся именно их дневники».

Однако эти слова разошлись с делом. Важность дневниковых записей я понимал, а вести их систематически порой не хватало времени. В промежутках между фронтовыми поездками и корреспондентской работой я написал за те годы две книги стихов, три пьесы и повесть «Дни и ночи». Успевая одно – не успевал другого. И дело было не только в недостатке времени, а в недостатке душевных сил.

В книге «Разные дни войны» читатель встретится:

Во-первых, с теми страницами моих военных записок, которые были продиктованы между поездками на фронт или – что гораздо реже – были сделаны по памяти вскоре после войны; текст их сокращен мною главным образом за счет малосущественных подробностей корреспондентской жизни и некоторых мест, носивших личный характер.

Во-вторых, со страницами, взятыми мною из фронтовых блокнотов, из переписки военного, а иногда и послевоенного времени, и в нескольких случаях – из моих военных корреспонденций.

И наконец, в-третьих, с моими нынешними воспоминаниями и размышлениями, основанными по большей части на знакомстве с архивными материалами. Быть может, некоторым из читателей покажется, что я отвел в книге излишне много места выяснению биографических подробностей и дальнейших судеб даже мельком встреченных мною на фронте людей. Но мне хочется напомнить, что оборванность людских судеб – одна из самых трагичнейших черт войны. И сейчас у меня все обостряется чувство неоплатности долга, все неотложней становится обязанность: всюду, где можешь, назвать разысканные тобою имена воевавших людей, проследить в сложных переплетах войны ниточки их судеб, иногда безвозвратно оборванных, а иногда просто не до конца нам известных, в том числе тех, кто остался жив, но, случалось, был записан в мертвые ошибкою памяти или документа.

¹ Том фронтовых заметок К.М. Симонова 1942–1945 гг. выйдет отдельным изданием в серии «Военные дневники». – *Прим. ред.*

Подготавливая книгу к печати, я старался, чтобы читателю в каждом случае было ясно, с чем он имеет дело: с тем, что я писал в те годы, или с тем, что вспоминаю теперь.

Книга документальная, в ней нет вымышленных персонажей, и всюду, где я считал себя вправе это сделать, я сохранил подлинные имена и фамилии. В такой книге, как эта, возможны ошибки памяти, и я буду признателен тем, кто на них укажет.

Мне остается честно предупредить тех из читателей, которые знают роман «Живые и мертвые» и примыкающие к этому роману повести «Из записок Лопатина», что они столкнутся здесь, в дневнике, с уже знакомыми им отчасти лицами и со многими сходными ситуациями и подробностями.

Это объясняется тем, что, когда пишешь повесть или роман о таком тяжком деле, как война, фантазировать и брать факты с потолка как-то не тянет. Наоборот, всюду, где это позволяет твой собственный жизненный опыт, стараешься держаться поближе к тому, что видел на войне своими глазами.

При всей разнице литературных жанров «Живые и мертвые» были написаны, в общем, о том же самом, что и дневник. Он был отправной точкой для романа и предшествовал ему по времени, хотя сейчас для многих читателей, когда они встретятся в дневнике с тем, что уже читали в романе, все будет выглядеть как раз наоборот.

В дальнейшем, на протяжении книги, я буду лишь в самых необходимых случаях напоминать об этой связи одного с другим, но здесь, во вступлении, хочу без недомолвок признать, что для меня самого, как для писателя, эта связь принципиально важна.

Глава первая

Двадцать первого июня меня вызвали в радиокомитет и предложили написать две антифашистские песни. Так я почувствовал, что война, которую мы, в сущности, все ожидали, очень близка.

О том, что война уже началась, я узнал только в два часа дня. Все утро 22 июня писал стихи и не подходил к телефону. А когда подошел, первое, что услышал: война.

Сейчас же позвонил в политуправление. Сказали, чтоб позвонил еще раз в пять.

Шел по городу. Люди спешили, но, в общем, все было внешне спокойно.

Был митинг в Союзе писателей. Во дворе столпилось много народу. Среди других были многие из тех, кто так же, как и я, всего несколько дней назад вернулся с лагерных сборов после окончания курсов военных корреспондентов. Теперь здесь, во дворе, договаривались между собой, чтоб ехать на фронт вместе, не разъединяться. Впоследствии, конечно, все те разговоры оказались наивными, и разъехались мы не туда и не так, как думали.

На следующий день нас – первую партию, – человек тридцать, вызвали в политуправление и распределили по газетам. Во фронтовые – по два, в армейские – по одному. Мне предстояло ехать в армейскую газету. Было немножко неожиданно это предстоящее одиночество. Писательское, конечно.

Потом вместе с Долматовским был в райкоме партии. Перед отъездом на фронт я стал кандидатом партии – секретарь райкома вручил мне кандидатскую карточку, а Долматовскому партийный билет. После этого мы опять до вечера были в Наркомате обороны. Там выписывали документы: мне в армейскую газету 3-й армии в Гродно. Получили документы и обмундирование. Оружия не дали, сказали: достанете на фронте. Там, в вещевом цейхгаузе, я в последний раз видел многих из тех, с кем мы разъезжались.

Шумели, примеряя военную форму. Были очень оживленны, может быть, даже слишком, нервничали.

Шинель впопыхах выбрал себе не по росту, и пришлось на следующее утро, 24-го, менять в военторге. Долматовский покупал себе там шпалы на петлицы. Так и простились с ним посреди магазина.

В ночь с 23-го на 24-е была первая воздушная тревога, как потом оказалось – учебная. Все это, конечно, были игрушки, но я тащил детей с пятого этажа вниз, в убежище, и мне все это казалось чрезвычайно серьезным.

Двадцать четвертого, еще засветло, ездил на вокзал, чтобы оформить до Минска свой воинский литер. До места так и не добился, только узнал, когда пойдет поезд. Решили, что как-нибудь сяду. Было настроение проститься с Москвой сегодня и не откладывать отъезда еще на день.

Вечером в Москве было абсолютно темно. Машину, в которой я ехал на вокзал, задержали: шофер ехал не с такими предохранительными сетками, какие положено было иметь. К счастью, подвезла другая машина, и в последнюю минуту я все-таки попал к поезду, отходившему на Минск. Верней, думал, что в последнюю минуту, потому что поезд ушел только через два часа.

На вокзале кое-где горели синие лампочки. Черный вокзал, толпа людей, непонятно, когда, куда и какой идет поезд, какие-то решетки, через которые не пускают. Перебросил чемодан, потом перелез сам.

Шинель была хорошо пригнана, ремни скрипели, и мне казалось, что вот таким я всегда и буду. Не знаю, как другие, а я, несмотря на Халхин-Гол, в эти первые два дня настоящей войны был наивен, как мальчишка.

Поезд тронулся. Вагоны были, неизвестно почему, дачные, без верхних полок, хотя поезд шел до Минска.

Я должен был явиться в политуправление фронта в Минске, а оттуда – в армейскую газету 3-й армии. В вагоне ехали главным образом командиры, возвращавшиеся из отпусков. Было тяжело и странно. Судя по нашему вагону, казалось, что половина Западного военного округа была в отпуску. Я не понимал, как это случилось.

Ехали ночь на 25-е и весь день 25-го. Вечером в Орше бомбили, не далеко от поезда. 26-го, вернее, в ночь на 26-е поезд подошел к Борисову. Известия с каждым часом были все тревожнее. И надо сказать, мы быстро привыкали к ним, хотя им и трудно было поверить.

Рядом со мной в вагоне сидели полковник-танкист и его сын, мальчик лет шестнадцати, которого отцу разрешили взять с собой в армию. Кроме них, один артиллерийский капитан, по виду спокойный человек.

Слезли в Борисове в шесть утра. Дальше поезда не шли. Были сведения, что пути до Минска разбомблены и перехвачены десантом. Потом говорили, что немцы 20-го уже вышли на железную дорогу между Минском и Борисовом, обойдя Минск. Но нам это еще не приходило в голову, думали, десант. Мы вылезли прямо у станции, свалили в кучу чемоданы. Сын полковника заботливо помогал старшим устроиться с харчами. Все тащили все, что было, и ели вместе. Кто-то вдруг притащил бочонок сметаны. Черпали сметану тарелками, кружками и даже касками. Было в этом что-то грустное. Внешне как будто ничего особенного, а в сущности: эх, где наша не пропадала!

Поев, три часа метались по городу в поисках власти. Ни комендант станции, ни комендант города ничего не могли сказать. Начальник гарнизона корпусной комиссар Сусайков был не то в городе, не то километрах в двенадцати от города у себя в бронетанковом училище, которым он командовал.

После долгих поисков мы с артиллерийским капитаном поймали пятитонку, шофер которой готовился бросить ее из-за того, что кончался бензин, и поехали по Минскому шоссе искать хоть какое-нибудь начальство.

Над городом крутились немецкие самолеты. Были отчаянная жара и пыль. У выезда из города, возле госпиталя, я увидел первых мертвых. Они лежали на носилках и без носилок. Не знаю, откуда они появились. Наверное, после бомбежки.

По дороге шли войска и машины. Одни в одну сторону, другие – в другую. Ничего нельзя было понять.

Выехали из города, но там, где стояло бронетанковое училище, верней, должно было стоять, и где, по нашим расчетам, мог находиться начальник гарнизона, все было настезь распахнуто и пусто. Стояли только две танкетки, и в ожидании отъезда сидели в одной из комнат их экипажи. Никто ничего не знал. Начальник гарнизона, по слухам, был где-то на Минском шоссе, а училище было уже эвакуировано.

Поехали обратно в город. Немецкие самолеты гонялись за машинами. Один прошел над нами, строча из пулемета. От грузовика полетели щепки, но никого не задело. Я плюхнулся в пыль в придорожную канаву.

Вернулись в комендатуру. Комендант – старший лейтенант – кричал: «Закопать пулеметы!» За два часа нашего отсутствия многое переменялось. По городу шли и бежали неизвестно куда люди.

Я попросил коменданта выдать мне наган. На это комендант мне ответил: «Эх! Что бы вам обратиться раньше на полчаса. Ничего не осталось. Все за час роздали. Даже маузеры раздавали рядовым бойцам».

В нашей машине бензин действительно был уже на исходе. Узнав, где находится нефтебаза – она была примерно в пятнадцати километрах в сторону Минска, – поехали туда за бензином. По дороге посадили в машину какого-то интенданта и еще двух-трех военных.

На нефтебазе все оказалось спокойно, хотя по дороге нас уверяли, что там уже немцы. Пока мы ведрами заливали бензин в машину, капитан пошел к начальнику нефтебазы что-то выяснить. Войдя вслед за ним, я увидел странную картину: капитан, с которым я приехал, и какой-то полковник держали под взведенными наганами двух командиров в форме саперов. Один из них был с орденами. У обоих было отобрано оружие. Как впоследствии оказалось, их прислали сюда выяснить возможность подрыва нефтебазы, и не то они перепутали и явились уже подрывать ее, не то их не так поняли, в общем, вышло недоразумение, из-за которого капитан и полковник приняли их за диверсантов и пять минут держали под револьверными дулами. Когда все наконец выяснилось, один из саперов – немолодой майор с двумя орденами – стал кричать, что с ним никогда еще такого не было, что он три раза был ранен в финскую кампанию, что после такого позора ему остается только застрелиться. С трудом удалось его успокоить.

Заправившись бензином, поехали обратно. На переезде стоял длиннейший состав, загораживавший дорогу. Голова его упиралась в хвост другого состава, загораживавшего следующий переезд. И так, кажется, до бесконечности. Двое из сидевших в кузове нашей машины стали шуметь и требовать, чтобы мы бросили машину и шли пешком, потому что поезда никогда не пойдут и нас тут настигнут немцы. Мы с капитаном на них накричали.

Но действительно пришлось ждать около часа. Где-то бухала артиллерия. Было отвратительное ощущение неизвестности, а у меня к тому же безоружности. Болтавшаяся на боку пустая кобура только раздражала.

Когда мы снова добрались до города, комендатура грузилась. На мой вопрос, что происходит, комендант охрипшим голосом прокричал:

– Есть приказ маршала Тимошенко оставить Борисов, перейти на ту сторону Березины и там, не пуская немцев, защищаться до последней капли крови!

Мы выехали из города. По пыльной дороге на восток шли машины, изредка орудия. Двигались пешком люди. Теперь все же направлялись в одну сторону, на восток. На дамбе, перед мостом, стоял человек с двумя наганами – за поясом и в руке. Он останавливал людей и машины и вне себя, грозя застрелить, кричал, что он должен остановить здесь армию и он остановит ее и будет стрелять всех, кто попытается отступить. Этот человек был искренен в своем отчаянии, но все это вместе взятое было нелепо, и люди равнодушно ехали и шли мимо него. Он пропускал их, хватал за гимнастерки следующих и опять грозил застрелить.

Переехав через мост, мы свернули с дороги и остановились в небольшом редком лесу, метрах в шестистах от реки. Здесь уже кишмя кишело. По большей части все это были командиры и красноармейцы, ехавшие из отпусков обратно в части. А кроме них, бесконечное количество призванных, упорно двигавшихся на запад, на свои призывные пункты.

Было уже часа четыре дня. Несколько полковников, в том числе и тот полковник-танкист Лизюков, с которым я ехал в одном вагоне, наводили в лесу порядок. Составляли списки, делили людей на роты и батальоны и отправляли налево и направо вдоль берега Березины занимать оборону. Было много винтовок, несколько пулеметов и орудий.

Артиллерийский капитан, с которым я ездил, отправился еще обратно в Борисов за снарядами и пушками, потому что хотя здесь были и пушки и снаряды, но калибр снарядов не соответствовал калибру орудий.

Я загнал машину в лес и пошел записываться в строевые списки. Записавшись, встретил военного юриста, который тоже ехал со мной в одном вагоне. Он сказал мне, что ему приказали заниматься тут его прокурорскими делами, и посоветовал мне быть при нем: «Ведь не газету же здесь выпускать». Через несколько минут он притащил мне откуда-то винтовку со штыком, без ремня, так что мне все время приходилось держать ее в руках.

Через полчаса после того, как я попал сюда, немцы с воздуха обнаружили наше скопление и стали обстреливать лес из пулеметов. Волны самолетов шли одна за другой примерно через каждые двадцать минут.

Мы ложились, прижимаясь головами к тощим деревьям. Лес был редкий, и нас очень удобно было расстреливать с воздуха. Никто друг друга не знал, и при всем желании люди не могли толком ни приказывать, ни подчиняться.

– Хоть бы дождаться темноты, – сказал мне прокурор.

Наконец часа через три над лесом низко прошло звено И-15. Мы вскочили, довольные, что наконец-то появились наши самолеты. Но они полили нас хорошей порцией свинца. Несколько человек рядом со мною было ранено – все в ноги. Как лежали в ряд, так их и пересекла пулеметная очередь.

Мы думали, что это случайность, ошибка, но самолеты развернулись и прошли над лесом во второй и в третий раз. Звезды на их крыльях были прекрасно нам видны. Когда они в третий раз прошли над лесом, кому-то из пулемета удалось сбить один самолет. Туда, где горел этот самолет, на опушку, побежало много народа. Бежавшие туда говорили, что из кабины вытащили труп полусгоревшего немецкого летчика.

Не понимаю, как это случилось. Остается думать, что немцы в первый день где-то захватили несколько самолетов и научили своих летчиков летать на них. Во всяком случае, впечатление у нас осталось удручающее.

Штурмовали нас до поздней ночи. К ночи вернулся капитан и привез снаряды. Он был очень доволен тем, что дорвался до своего артиллерийского дела и не чувствует уже себя неизвестно куда гонимой пешкой.

Мы чего-то пожевали, кажется сухарей. А пить – устали так, что за водой даже не пошли.

Я уже в темноте улегся у колес грузовика, положив под голову шинель, а винтовку рядом. Было чувство усталости и полного недоумения перед всем, что кругом делается. Но вместе с тем была вера, что все это случайность, какой-то немецкий прорыв, что впереди и сзади есть наши войска, которые придут и все поправят.

Я устал до такой степени, что, когда ночью нас опять начали обстреливать с воздуха, проснулся, только когда кто-то над ухом выстрелил и открылась отчаянная стрельба в небо. Машины ехали куда-то, натыкались между деревьями одна на другую, разбивались, ломались. Над горизонтом то и дело повисали осветительные ракеты и слышались далекие взрывы бомб.

Наш водитель хотел было рвануться вслед за другими, но я удержал его, решив не выезжать из лесу, пока не прекратится паника.

Через полчаса в лесу стало тише. Сев в пятитонку, стали пробираться к дороге. Выехали на опушку. Оставив там водителя с машиной, я вышел на дорогу и наткнулся на группу из четырех или пяти человек, которые разговаривали с кем-то, одетым в штатское, и требовали у него документы. Он отвечал, что документов у него нет. Они требовали еще настойчивее; тогда он дрожащим голосом крикнул: «Документы вам? Все Гитлера ловите! Все равно вам его не поймать!» Военный, стоявший рядом со мной, молча поднял наган и выстрелил. Штатский согнулся и упал. Над нашими головами загорелась ослепительная белая ракета, и сразу же шагах в сорока грохнула бомба. Я упал. Потом грохнуло еще раз и еще – уже дальше. Я поднялся. Рядом со мной лежал застреленный, около него – почти на нем – убитый осколком бомбы военный, один из только что стоявших здесь. А больше никого не было.

Я вернулся в лес. Шофер лежал под машиной, головой – под мотор. Выехав с ним на дорогу, мы узнали у проходивших военных, что всем приказано отойти километров на семь назад, туда, где через лес идет просека.

На лесной дороге было темно. Я шел перед машиной, чтобы не дать ей врезаться в деревья. Когда рассвело, мы добрались до опушки леса, где чуть ли не за каждым деревом стояли машины. Люди рыли окопы и щели.

Я оставил машину в лесу, рядом с другими машинами, а сам пошел искать какое-нибудь начальство. Мне указали как на старшего на корпусного комиссара Сусайкова. Он стоял на лесной дороге, молодой небритый человек в надвинутой на глаза пилотке, в красноармейской шинели, накинута на плечи, и почему-то с лопатой в руках. Я подошел к нему и по своей все еще не выветрившейся наивности спросил, где редакция газеты, в которой я мог бы работать, потому что я писатель и направлен в армейскую газету.

Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и сказал равнодушно:

– Разве вы не видите, что делается? Какая газета?!

Я сказал, что мне надо явиться в штаб фронта, в политуправление. Он покачал головой. Он не знал, где штаб фронта, вообще он ровно ничего не знал, так же как и все находившиеся вместе с ним в этом лесу.

В семь, когда солнце поднялось уже высоко, немцы снова начали бомбить и обстреливать это место. Приходилось ложиться, вставать, опять ложиться, опять вставать. Во время одного из таких лежаний я увидел прокурора. Оказывается, он лежал рядом со мной.

– Что ты делаешь? – спросил он меня.

Я сказал, что пока ничего.

– Ну, тогда будешь работать у нас, хорошо?

Я сказал «хорошо» и подсел к той кучке людей, которая пыталась здесь организовать военную прокуратуру. Кроме прокурора, тут были какой-то политрук с авиационными петлицами и еще несколько человек.

Кругом был мелкий лес и редкий березняк. Я вспомнил свой монгольский опыт и, так как мне уже надоело лежать плашмя на животе с чувством полной беспомощности, предложил достать лопаты; мы достали их, и под моим руководством работники свежее испеченной прокуратуры стали рыть щели, как мы рыли их в Монголии: в виде буквы «Г».

Часа через два, успев за это время по два раза перележать бомбежки, мы вырыли в песчаном грунте добротную глубокую и узкую щель. Только к концу этой работы я вспомнил, что уже двое суток почти ничего не ел и не пил. Меня клонило ко сну, должно быть, от усталости и голода. Я сел на краю щели, прислонился к березовому кусту и задремал. Лицо пригревало солнцем, и, как обычно бывает в такие минуты короткого и случайного сна, наспех снилось что-то очень приятное.

Среди этого сна снова началась трескотня пулеметов. Я автоматически, еще не проснувшись, прыгнул в щель. Самолеты шли над лесом бреющим, и вслед за мной в щель скатились люди. Не успел я окончательно проснуться, как мне на голову сыпалось что-то очень тяжелое и спросило женским голосом:

– Вам не тяжело?

– Не тяжело, – сказал я.

А женщина все еще сидела на моей шее, пытаясь как-то подвинуться, чтобы мне было легче, и от этого у меня трещали позвонки. Через пять минут, когда, сделав несколько кругов, самолеты ушли, я почувствовал, как тяжесть ослабела, и вылез из щели. Оказывается, на мне сидела довольно плотная санитарка. Она теперь стояла передо мной и робко извинялась: говорила, что все люди, всем жить хочется. Оставалось только согласиться.

События дня путаются у меня в голове. Я засыпал, потом стреляли, я лез в щель. Потом опять засыпал. Помню, как меня послали сопровождать каких-то двух людей – мужчину и женщину, – как я вышел на открытое место, стоял с ними у ограды, проверял их документы и выяснял с дотошностью доморощенного следователя, откуда они и как они сюда попали.

А в это время опять пошли над головой самолеты. Кругом все легли или побежали в лес. И мне хотелось сделать то же самое, но было неудобно. Я стоял и продолжал расспрашивать этих двух – мужчину и женщину, – которые, кажется, были больше напуганы моими расспросами, чем пулеметными очередями с воздуха.

Тут же, недалеко, у забора, шлепались пули, но нас не задевало, все обошлось благополучно.

Потом помню майора с обвязанной шеей – в него только что выстрелил по недоразумению какой-то командир, приняв его за диверсанта, и он волновался, обижался, кричал сердитым голосом, но это ни на кого не производило впечатления.

Я подошел к самой опушке, где лесная дорога выходила на Минское шоссе. Вдруг в пяти шагах от меня на шоссе выскочил боец с винтовкой, с сумасшедшими, вылезающими из орбит глазами и закричал сдавленным, срывающимся голосом:

– Бегите! Немцы окружили! Пропали!

Кто-то из командиров, стоявших рядом со мной, закричал:

– Стреляй в него, в паникера! – и, вытащив револьвер, стал стрелять.

Я тоже вынул наган, который получил час назад, и тоже стал стрелять по бегущему. Сейчас мне кажется, что это был, наверно, сумасшедший человек, с психикой, не выдержавшей страшных испытаний этого дня. Но тогда я об этом не думал, а просто стрелял в него.

Очевидно, мы в него не попали, потому что он побежал дальше. Какой-то капитан выскочил ему наперерез на дорогу и, пытаясь задержать, схватил за винтовку. После борьбы красноармеец вырвал винтовку. Она выстрелила. Еще больше испугавшись этого выстрела, он, как затравленный, оглянулся и кинулся со штыком на капитана. Тот вытащил наган и уложил его. Три или четыре человека молча стащили тело с дороги.

Над шоссе опять пошли немецкие самолеты, и все снова легли на землю или в щели.

Потом помню двух человек – полкового комиссара и бриг-военврача, которые вели за собой через лес под командой человек полтора десятка выпускников Военно-медицинской академии. Я так и не понял: не то они практиковались в Минске, не то их зачем-то под командой отправили в Минск, и теперь, потеряв по дороге уже двадцать человек во время бомбежек и обстрелов, они шли обратно на Оршу. Они искали начальство, просили им чем-нибудь помочь, но кто и чем мог им тут помочь? Им просто предложили идти дальше. И они так и сделали – пошли.

Потом еще через час военюрист подошел ко мне и сказал:

– Вы ведь, кажется, писатель?

Я сказал, что да.

– Вот помогите тут определить одного человека. Он по вашей части, если не врет. Он все документы и военный билет со страху порвал, но говорит, что работал в Союзе писателей в Минске. Может, это и правда?

Я подошел к этому человеку. Он был такой обросший, грязный, измученный, что по его виду нельзя было разобрать, сколько ему лет – тридцать или пятьдесят. Я стал расспрашивать его. Оказалось, что это работник Союза писателей в Минске, тот самый человек, который в мирное время доставал билеты на поезда и устраивал номера в гостинице.

Для очистки совести – хотя я ему сразу поверил – я стал выяснять у него какие-то подробности про Кондрата Крапиву: когда Кондрат Крапива ездил в Москву? Я сам никогда не видел Кондрата Крапиву, но вспомнил числа, в которые он весной должен был приехать на конференцию драматургов в Москву. Человек ответил на мой вопрос настолько точно, что сомнений не оставалось: он был именно тем, за кого себя выдавал.

А я вдруг вспомнил, как что-то совершенно дикое и нелепое, обсуждение своей пьесы «Парень из нашего города». Совсем недавно на конференции в клубе писателей доклад, выступления, какие-то споры. Все это сейчас, здесь, было невероятно странно.

Так как личность этого работника Союза писателей в Минске оказалась установленной, его не тронули, несмотря на отсутствие документов, а решили отправить в какую-нибудь часть, которая будет формироваться.

И он сидел тут же рядом с нами, сначала вместе с конвойными, которые его привели, а потом просто так, потому что все о нем уже забыли.

Следующий, с кем мне пришлось говорить, был девятнадцатилетний мальчишка – худой, небритый, с редко торчащими на подбородке волосками, с тонким и злым лицом, которое то казалось очень умным, то казалось лицом помешанного. Я так до конца и не понял, кем он был. Его привели из роты, стоявшей в соседнем лесу. Когда над рощицей проходили немецкие самолеты, он, несмотря на команду «Маскируйся!», вышел на середину поляны, встал на самом виду и начал размахивать руками. Ни окрики, ни призывы не помогали. Он продолжал делать свое. Когда его привели к нам, он продолжал с упорством маньяка твердить, что он попал к немцам и что все мы – немцы.

Военюрист подвел его ко мне и спросил:

– Ну вот кто это, по-вашему, стоит перед вами? Батальонный комиссар или нет?

– Нет, это немецкий офицер, – сказал парень.

– Но ведь у него знаки различия, разве вы не видите? Вот, – ткнул военюрист в мои шпалы. – Или это, по-вашему, погоны?

– Погоны, – с упорством сумасшедшего сказал парень.

– Вы понимаете, где вы находитесь? – спросил воен-юрист.

– Я у немцев. Все вы немцы, – сказал парень. И больше из него ничего невозможно было выжать. Его тоже отвели на опушку к нескольким густо росшим деревьям, где сидели остальные задержанные.

Мне самому казалось, что этот мальчишка тронулся.

Часов в пять дня, уже не помню зачем, мы вместе с воен-юристом вышли на самую опушку леса. Шагах в ста от нас стоял грузовик, а около грузовика высокий командир в форме пограничника. Вдруг раздалось гудение, потом свист. Все мы легли на землю – где кто был, – а этот командир-пограничник полез под свою машину.

Наверно, бомба была небольшая, разрыв был не особенно сильный, но она прямым попаданием угодила в машину. Когда мы поднялись с земли, вместо машины были только куски изогнутого железа, а по лужайке еще катилось колесо. Оно докатилось и упало около нас.

Я накинул на плечи шинель, потому что, несмотря на теплый день, озяб от голода и усталости, и пошел искать свою машину. Наверно, ее кто-то перегнал в другое место. А может быть, шофер самовольно уехал, не знаю. Искал ее часа полтора по всему лесу, но так и не нашел. Там, в машине, у меня были чемодан и притороченный к нему плащ. Но всего этого было не жаль, а жаль было только лежавшей в чемодане привезенной еще из Монголии меховой безрукавки – там, в Монголии, их называли забайкальскими майками – и двух трубок, лежавших в кармане этой безрукавки. Табак был в кармане брюк, а трубок не было. Я, собственно говоря, главным образом из-за них и пошел искать машину.

Вернулся, попробовал свернуть сигарку из газеты, но ничего не вышло – никогда не вертел.

Под вечер, часов в семь, военюрист сказал мне, что все-таки он должен искать штаб фронта, куда он командирован.

– А вы куда? – спросил он меня.

Я сказал, что мне нужно явиться в политуправление фронта.

– Ну что ж, тогда поедem вместе, – сказал он. – А по дороге вы мне поможетe доставить арестованных до Орши.

Я согласился. По правде сказать, мне в тот момент было все равно – оставаться тут до утра или ехать. Хотелось только одного – спать.

Мы вышли на дорогу. По ней с запада на восток с небольшими интервалами шли грузовики, то полные, то пустые. Мы остановили один из них. С нами вместе останавливали эту машину немолодой усталый полковник в пограничной форме и боец-пограничник. Они оба искали штаб пограничных войск.

Все мы сели в эту машину. Полковник рядом с шофером, а я, военюрист, один конвойный, боец-пограничник и пять задержанных – в кузов.

Сначала я дремал, но потом начались налеты и обстрелы, и мы то и дело вылезали из машины, ложились в кювет, снова влезали, снова вылезали. Надоело все это до невероятности. Но спать уже не хотелось. Неудобно сидя, трясясь на борту машины, я стал расспрашивать сидевшего рядом со мной, тоже на борту, парня – того, который всех нас называл немцами. Не помню точно, откуда он был, но он говорил, что в деревне у него мать, что он окончил десятилетку и был взят в армию. Говорил он туманно, и мне по разговору показалось, что отец его был из высланных кулаков. Он говорил то злобно, то бестолково, как настоящий сумасшедший. И по-моему, не притворялся.

– Ну хорошо, мы тебя отпустим, – сказал я. – Что ж ты будешь делать? Будешь драться с немцами?

– Нет, я поеду домой.

– Тебя возьмут там и расстреляют как дезертира.

– Ничего, все равно я поеду домой, – упрямо повторял он. – Я не хочу тут быть. Я хочу домой.

На все вопросы он отвечал злобно, грубо, так, что казалось, вот сейчас возьмет и укусит тебя. Его лицо и сейчас стоит у меня перед глазами, и я уверен, что мое ощущение было правильным. Он был одновременно и обозлен и ненормален.

По обеим сторонам шоссе между столбами все телефонные и телеграфные провода были порваны. Возле дороги лежали трупы. По большей части гражданских беженцев. Воронки от бомб чаще всего были в стороне от дороги, за телеграфными столбами. Люди пробирались там, стороной, и немцы, быстро приспособившись к этому, бомбили как раз там, по сторонам от дороги. На самой дороге воронок было сравнительно мало, всего несколько на всем пути от Борисова до поворота на Оршу.

Как я уже потом понял, наверное, немцы рассчитывали пройти этот участок быстро и беспрепятственно и сознательно не портили дорогу.

Вдоль дороги шли с запада на восток женщины, дети, старики, девушки с маленькими узелками, девочки, молодые женщины, большей частью еврейки, судя по одежде, из Западной Белоруссии, в жалких, превратившихся сразу в пыльные тряпки заграничных пальто с высоко поднятыми плечами. Это было странное зрелище – эти пальто, узелки в руках, модные, сбившиеся набок прически.

А с востока на запад вдоль дороги шли навстречу гражданские парни. Они шли на свои призывные пункты, к месту сбора частей, мобилизованные, не желавшие опоздать, не хотевшие, чтобы их сочли дезертирами, и в то же время ничего толком не знавшие, не понимавшие, куда они идут. Их вели вперед чувство долга, полная неизвестность и неверие в то, что немцы могут быть здесь, так близко. Это была одна из трагедий тех дней.

Этих людей расстреливали с воздуха немцы, и они внезапно для себя попадали в плен.

Во время одного из лежаний под бомбежкой полковник-пограничник вдруг сказал, что сегодня убили одного писателя. Я спросил где.

– А там, в лесочке, где мы стояли. Это наш писатель-пограничник.

Он назвал фамилию – Шаповалов, и я вспомнил батальонного комиссара-пограничника, заходившего иногда в Москве к нам в клуб писателей. Полковник сказал, что этот писа-

тель-пограничник во время бомбежки залез под свою машину и там его и убило. Я вспомнил машину, пограничника рядом с ней и понял, что был свидетелем этой смерти.

У полковника-пограничника был замученный вид. Мы опять лежали и ждали, пока немцы отбомбятся, и он сказал мне усталым голосом:

– Имею сведения, что все мои на заставах погибли. Дрались до последнего человека и погибли все, кто там был. А семья у меня там, около Граева. Жена, двое детей, мать и сестренка. Все, что есть на свете, все там.

У него было такое безысходное и безнадежно спокойное горе в словах, в голосе, в движениях, что было страшно на него смотреть.

Когда мы доехали до поворота на Оршу и повернули, то впервые увидели войска, стоявшие на позициях тут же, около дороги, в придорожных лесах. Тут были пулеметы, орудия, люди в касках и с оружием, походные кухни, вообще все то, что мне наконец напомнило армию такой, какой я ее раньше привык видеть. Впервые стало немного легче на душе.

В Оршу мы въехали уже часов в девять-десять вечера. Город был пустой, хотя слухи о том, что его разбомбили и сожгли, оказались неправдой. Упало несколько бомб, вылетели все стекла на нескольких центральных улицах, а все остальное было в этот день еще цело. Но в городе все было закрыто, и людей в нем я почти не видел.

Мы сначала пошли к железнодорожному коменданту узнать, есть ли поезда на Смоленск, потому что считали, что если штаб Западного фронта ушел из Минска, то он теперь, наверное, в Смоленске.

Оказалось, что поезда на Смоленск нет и неизвестно, когда он будет, хотя рано или поздно он должен быть.

Кто-то обратил внимание военюриста на ходившего по платформе пожилого капитана, высокого, аккуратно одетого и в желтых крагах. Кто-то сказал о нем, что этот капитан тут толчется уже второй день и беспрерывно заговаривает с гражданскими пассажирами. Сначала военюрист прошел несколько раз мимо капитана, намереваясь его задержать, но потом, видимо, понял, что, задержав сейчас тут этого человека, с ним можно сделать только одно из двух: или расстрелять, или отпустить. Ничего третьего не сделаешь. Он плюнул на эту историю и отошел от капитана.

Я еще раз посмотрел на капитана, продолжавшего ходить по платформе, и мне показалось, что, в сущности, подозревать его было не в чем, что это просто немолодой, замученный и оглушенный бестолковщиной этих дней, только что призванный из запаса командир, сидевший тут в ожидании какого-то поезда и ничего, так же как и мы, не знавший.

Мы продолжали топтаться на станции. Кто-то сказал, что скоро уйдет поезд на Витебск. Но нам туда ехать было ни к чему.

Станция была забита эшелонами с самым разным народом. Было много военных, но еще больше беженцев. И никто ровно ничего не знал. Все толпились, суетились, нетерпеливо спрашивали, куда и когда пойдут поезда. Но некоторые, видимо, уже притерпелись и отупело сидели на лавках, ожидая, что кто-то их подберет и увезет.

Полковник-пограничник отделился от нас. Кто-то сказал ему, что штаб пограничных войск в Витебске, и он побежал выяснять, ушел уже поезд на Витебск или еще не ушел. А мы с военюристом пошли к коменданту города.

По дороге с вокзала к коменданту мы наткнулись на какой-то склад около вокзала. Бородатый человек вытащил нам из темноты две буханки хлеба, банку килек и несколько пачек папирос. Судя по тому, как он привычно это делал, очевидно, он весь день занимался этим – раздавал понемногу всем, кто к нему подходил, все, что у него было.

Мы взяли поесть себе и, вернувшись, дали поесть арестованным. Я считал, что этого сумасшедшего парня, которого мы привезли, наверно, расстреляют, и у меня было странное

чувство, когда я смотрел на него и видел, с какой жадностью жует он хлеб и как он чуть не ударил другого арестованного, не поделив с ним пачку папирос.

Раздав продукты задержанным, мы все-таки пошли к коменданту города. Комендатура находилась в подвале школы. Там стояло несколько телефонов, сидели военный диспетчер и два майора-железнодорожника. В подвале стоял сплошной хриплый крик по телефону. Наконец, на минуту оторвав одного из майоров, мы спросили у него, будет ли поезд на Смоленск.

– Сейчас скажу, – ответил он и бросился к телефону, к которому его вызвали. Он слушал то, что ему говорили, и лицо его все больше искажалось. Потом раздалась длинная пятиэтажная ругань. – Не будет поезда, – сказал он нам, оторвавшись от телефона. – Не будет. Вот мне только что сообщили: по дороге на Смоленск немцы разбомбили поезд с боеприпасами. Оба пути заняты. Вагоны рвутся. В двадцати шести километрах отсюда. Не будет никакого поезда на Смоленск.

Мы начали спрашивать коменданта, что нам делать с задержанными. Комендант не знал. В городе не было никаких властей, которые могли бы этим заняться.

Мы с военюристом вышли во двор. Уже совсем темнело. По улице под командой лейтенанта шла группа человек в пятьдесят бойцов, отбившихся от своих частей. Мы остановили лейтенанта и узнали, что он ведет их в расположение какой-то части, чтобы присоединиться к ней. Тогда, не видя другого выхода да и не ища его, мы взяли четырех из пяти задержанных – всех, кроме сумасшедшего парня, – и, поговорив с лейтенантом, присоединили их к этой колонне. Их должны были теперь доставить в часть и выдать им оружие.

Тогда мы колебались. Но теперь я думаю, что это был самый правильный выход. Это были просто растерянные люди, никакие не преступники. Им нужно было только одно – найти часть и взять в руки винтовки.

Через минуту колонна скрылась из виду. А на сумасшедшего парня мы написали сопроводительную записку и все-таки заставили коменданта принять его и посадить в одну из подвальных комнат с часовым впредь до выяснения того, где же все-таки находится в Орше трибунал, НКВД или хоть что-нибудь.

Пока мы были в комендатуре, к коменданту явились три мальчика лет по пятнадцати – шестнадцати, воспитанники авиационной спецшколы. Они просили сказать, по-прежнему ли находится их спецшкола там, где она находилась, и назвали место. Еще накануне в Борисове мне говорили, что там, в этом месте, шел бой с немцами.

Комендант сказал мальчикам, что они могут идти к себе в спецшколу, потому что там, несомненно, наши. Я промолчал, но, когда ребята вышли во двор, я подозвал их и спросил, откуда они и как сюда попали. Выяснилось, что они от своей школы ездили в Москву, кажется, для подготовки к какому-то параду, и теперь не знают, что же делать. У них нет ни командировочных предписаний, ни денег, ничего.

Они, наверно, давно ничего не ели. У них были похудевшие лица и отчаянные глаза. Стояли худые и несчастные, как галчата, в своих аккуратненьких шинельках. И было их жаль почти до слез. Не объясняя подробностей, я сказал им, что разыскать школу сейчас нет смысла, что им надо искать какой-нибудь штаб и вступать добровольцами в армию. Один из них с радостью стал говорить мне, что он хорошо знает бодо и может работать военным телеграфистом.

Я посоветовал им, если они успеют, сесть в тот поезд, который должен отойти на Витебск, потому что в Витебске есть какой-то штаб. У меня была острая жалость к ним. Я боялся, что эти три мальчика пойдут вперед и ни за что ни про что попадут к немцам, разыскивая свою школу.

Потом я сообразил, что у них нет денег и им не на что будет покупать еду, пока они доберутся до Витебска и попадут в какую-нибудь часть. Я спросил, сколько у них денег. Они

ответили, что у них шестнадцать рублей на троих, и я отдал им половину своих денег. Ребята сначала гордо отказывались, но я приказал им, и они взяли, сказав, что непременно когда-нибудь вернут мне эти деньги и поэтому хотят знать мою фамилию. Я назвался и пошутил, что после войны они могут зайти в Москве в клуб писателей и спросить там меня.

Оказалось, ребята читали мои стихи, и у нас возник странный пятиминутный разговор о стихах в этой пустой, разбитой Орше. Ребята почему-то обрадовались, что я писатель. Может быть, им стало спокойнее оттого, что вдруг оказалось, что эта Орша настолько тыловой город, что в нем есть даже писатели. Не знаю, так ли, но, когда я стал с ними прощаться, они немножко приободрились.

Они пошли, а я их провожал глазами. Бог его знает, почему мне было так грустно. Почему-то показалось, что ребята эти непременно пропадут.

Ночью мы опять пришли на станцию. К этому времени выяснилось, что, может быть, отсюда пойдет поезд на Могилев.

Свет нигде не горел. Отправление составов было связано с полной тайной и полной неизвестностью. Наконец нам шепотом сказали, что где-то за водокачкой, налево, стоит состав, который, может быть, пойдет на Могилев.

Нас набралось человек десять командиров. Старшим был высокий артиллерийский полковник с орденом Красного Знамени. Мы пошли по путям мимо паровозов и бесконечных составов. По всем путям бродили люди – военные и беженцы. Увидев нашу группу, они сейчас же бросались к нам, спрашивали, куда мы едем, куда хотим садиться, в какой поезд. Но мы и сами толком еще не знали этого и молчали.

Потом началась воздушная тревога. Заревели все паровозы, стоявшие на путях, а их тут было, наверно, около сотни. Весь день, когда нас бомбили, не было так страшно, как было страшно сейчас, когда кругом нас на путях, выпуская белый пар, ревели паровозы. Рев их был чудовищный, тоскливый, бесконечный. Он продолжался несколько минут, а нам показалось, что целый час.

Наконец мы добрались до засыпанного углем откоса и там легли рядом, чтобы обсудить положение. Посоветовавшись, решили во что бы то ни стало искать поезд, уходивший на Могилев. Большинство считало, что если там и не было фронта, то хотя бы штаб одной из армий там должен быть.

Все командиры были расстроены и подавлены тем, что где-то идут бои, где-то дерутся их части, а они никак не могут попасть туда из отпусков и не могут даже понять, как это сделать. Во всяком случае, в такой обстановке единственным способом попасть в свои части было найти сначала хоть какой-нибудь штаб – фронта или армии. На том и порешили.

Особенно волновался артиллерийский полковник. Он ехал с назначением начальником артиллерии дивизии. Как мне показалось, это был деловой и решительный командир, и он невыносимо страдал от своей бездеятельности, оттого, что ничего нельзя понять.

Прождав с час, пошли опять по путям в поисках состава на Могилев. Наконец стрелочник показал нам на темневшие вдали вагоны и сказал, что вот эти вагоны потом пойдут на Могилев. Не в силах больше бродить и решив – будь что будет, мы залезли на этот состав.

На платформах стояло два новеньких автобуса. Мы влезли в один из этих автобусов. Я присел на холодное сиденье, прислонился к окну и моментально заснул.

Не забуду своего первого утреннего ощущения; я открыл глаза и увидел, что еду на автобусе, а в автобусе, рядом со мной и впереди меня, сидят военные, а по обеим сторонам от нас бежит зеленая равнина. В первые секунды, спросонок, у меня было полное ощущение, что я еду по шоссе. Только потом, вспомнив все, что было ночью, я понял, что движется наш поезд.

Было восемь утра. Светло. Ясная, свежая погода после дождя. Кто-то сзади меня сказал, что мы подъезжаем к Могилеву...

Так кончились для меня первые двое суток, проведенных между Борисовом и Могилевом, в сумятице всего того неожиданного, неизвестного, непонятного, что обрушилось на головы многих тысяч людей, в том числе и на мою.

Как я уже упоминал в предисловии, кое в чем из пережитого на войне мне пришлось дополнительно разбираться уже задним числом, сейчас, готовя дневники к печати и заглядывая в архивы для уточнения некоторых фактов того времени и некоторых своих тогдашних суждений.

Первое из уточнений относится к тому месту дневника, где идет речь о немецких десантах и о том, что 26 июня немцы уже обошли Минск и вышли на железную дорогу между ним и Борисовом.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» указывается, что немцы достигли автостреды Минск – Москва своими подвижными частями только 28 июня. Сведения, видимо, запоздалые; на захваченной нами впоследствии карте немецкого генерального штаба обозначено, что 7-я танковая дивизия немцев перерезала Минское шоссе в районе Смолевичей, на полдороге между Минском и Борисовом, уже к вечеру 27 июня.

Слухи, о которых я говорю в дневнике, опередили действительные события на сутки, и, когда мы 26 июня ездил заправляться бензином из Борисова по направлению к Минску, тревога, что мы можем заехать к немцам, была неоправданной.

Со странным чувством разглядывал я в нашем военном архиве захваченные нами в Цоссене, под Берлином, в 1945 году пожелтевшие трофейные карты германского генерального штаба. Смотрел на уверенные, все глубже врезавшиеся в нашу землю стрелы и думал о немецких генштабистах, когда-то, в июне сорок первого, наносивших на эти отчетные карты обстановку по первым торжествующим донесениям с Восточного фронта.

Мне довелось побывать в Польской Народной Республике, в районе так называемого Вольфшанце – Волчьего логова, где перед началом войны размещалась ставка Гитлера. В глухом сыром лесу циклопическое нагромождение взорванных и опрокинутых многометровых бетонных плит. Все это немцы взорвали своими руками осенью 1944 года, накануне нашего вторжения в Восточную Пруссию. Но именно отсюда, из этих нынешних развалин, Гитлер тогда, в начале войны, руководил войной на востоке. Именно здесь клали перед ним тогда на стол эти карты с последней, казалось, наилучшим образом складывавшейся обстановкой. А теперь эти же самые карты, одну за другой, приносила мне для ознакомления тихая девушка-архивариус в подмосковном городе Подольске, до которого в конце сорок первого немцам, казалось, было рукой подать...

Приведенный мною в дневнике рассказ о вытащенном из кабины нашего истребителя полусгоревшем труп немецкого летчика сейчас кажется мне маловероятным, хотя сообщения о схожих случаях можно разыскать в архивных документах того времени, например в приказе начальника штаба 21-й армии от 13 июля 1941 года: «Противник использует захваченные у нас самолеты для действия по нашим частям, бомбардируя и обстреливая с бреющего полета».

Тогда я думал, что немцы могли захватить эту тройку наших И-15 и наскоро научить летать на них своих летчиков. Но вряд ли это правда. Немецкие истребители в те дни хозяйничали в воздухе, и посылать немецких летчиков в воздух на самом устарелом типе наших истребителей И-15 – значило подвергать их совершенно реальной опасности быть сбитыми собственными «мессершмиттами».

То, что рассказывали мне люди, вытащившие из кабины полуобгорелый труп якобы немецкого летчика, наверно, просто-напросто отвечало их душевной потребности. Они не могли примириться с тем, что первые увиденные ими за день наши самолеты по ошибке нас же и обстреляли с воздуха. Поверить в это было нестерпимо тяжело, отсюда и родилась версия о трупе немецкого летчика.

Что касается истребителей И-15, то они по своим данным считались устарелыми машинами еще в 1939 году на Халхин-Голе. В начале халхин-гольского конфликта их особенно часто сбивали японцы, и вскоре был отдан специальный приказ выпускать их в воздушные бои только вместе с другими, по тому времени более совершенными нашими истребителями.

Когда на Халхин-Гол прибыла группа наших летчиков – «испанцев» – на новых истребителях И-153, похожих очертаниями на И-15, но с убирающимися шасси и с большей скоростью, то в первом же воздушном бою было сразу сбито больше десятка японских истребителей, ошибочно посчитавших, что они встретились один на один с И-15, и нарвавшихся на неожиданный для себя отпор.

Поистине надо преклониться перед мужеством тех наших летчиков, которые в сорок первом году, не колеблясь, вступили на этих И-15 в бой с «мессершмиттами».

И-15, взятый нами на вооружение в 1935 году, располагал скоростью 367 километров, а «Мессершмитт-109», принятый немцами на вооружение в 1938–1939 годах, скоростью 540 километров; потолок был соответственно – 9000 и 11 700 метров; мощность моторов – 750 и 1050 лошадиных сил; калибр пулеметов – 7,62 миллиметра и 20 миллиметров.

По другим типам наших истребителей – И-16, И-153, который был на Халхин-Голе еще новинкой, – соотношение технических данных по сравнению с «мессершмиттами» к 1941 году складывалось не столько разительное, но тоже достаточно тяжелое для нас. Разница в потолке около двух тысяч метров и в скорости около ста километров. А все эти вместе взятые – одни более, другие менее устарелые – машины, к несчастью, все еще составляли к началу войны подавляющую часть нашей истребительной авиации.

А теперь несколько дополняющих дневник страниц о двух людях, встреченных мною тогда, в первые дни войны, – полковнике А.И. Лизюкове и корпусном комиссаре И.З. Сусайкове.

Архивные документы рассказали мне, что полковник Лизюков, ехавший вместе с сыном в одном вагоне со мной и на моих глазах наводивший порядок под Борисовом, воевал там еще двенадцать дней – до 8 июля 1941 года. О том, что он делал, пожалуй, точнее всего повествует выписка из наградного листа.

«Фамилия – Лизюков Александр Ильич.

Звание – полковник.

Год рождения – 1900.

Краткое содержание подвига. С 26 июня по 8 июля 1941 года работал начальником штаба группы войск по обороне города Борисова. Несмотря на то, что штаб пришлось сформировать из командиров, отставших от своих частей, в момент беспорядочного отхода подразделений от города Минска, товарищ Лизюков проявил максимум энергии, настойчивости, инициативы. Буквально под непрерывной бомбежкой со стороны противника, не имея средств управления, товарищ Лизюков своей настойчивой работой обеспечил управление частями, лично проявил мужество и храбрость. Достоин представления к правительственной награде орденом Красного Знамени».

Деятельность Александра Ильича Лизюкова была тогда оценена по достоинству. Он оказался одним из первых наших командиров, награжденных в начале войны на Западном фронте и получивших звание Героя Советского Союза.

Под Москвой он командовал 1-й мотострелковой дивизией, а весной 1942 года был назначен командиром 2-го танкового корпуса.

В эти дни, когда он приехал в Москву за назначением, я видел его во второй и последний раз.

В личном деле А.И. Лизюкова, касающемся довоенных времен, указано, что осенью 1935 года он около месяца был во Франции членом нашей военной делегации на маневрах французской армии. Потом командовал танковым полком и бригадой, а перед самой войной был заместителем командира 36-й танковой дивизии, в которую, видимо, и ехал, когда мы встретились с ним в вагоне.

Там, где я пишу в дневнике о своей встрече с Сусайковым, наряду с недоумением перед всем, что делалось кругом, присутствует надежда, что все это случайность, что все это вот-вот, не сегодня-завтра будет поправлено. Это чувство мне и теперь, издали, хорошо понятно. Основанная на всем нашем воспитании страстная вера, что так не может, не имеет права быть, толкала нас в первые дни на поиски более легких объяснений происходящего на наших глазах, чем те, которые содержала в себе действительность.

Корпусной комиссар Сусайков, у которого я имел наивность спрашивать посреди леса, где мне искать редакцию газеты, не мог знать, где находятся штаб и политуправление фронта, которые как раз в тот день перемещались, были в пути от Минска к Могилеву. Он узнал об этом лишь на следующий день из приказа, направленного ему штабом фронта уже из Могилева.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» за 28 июня есть текст этого распоряжения корпусному комиссару Сусайкову, согласно которому на него, как на начальника Борисовского танкового училища, была возложена оборона района Борисова.

Иван Захарович Сусайков, прежде чем стать политработником, был начальником штаба отдельного танкового батальона московской Пролетарской дивизии и в 1937 году в звании капитана окончил Бронетанковую академию.

Группе войск, которую сколотили два танкиста – Сусайков и Лизюков, – и частям воевавшего под Борисовом 44-го корпуса удержать город не удалось, но, оставив Борисов, они в последующие дни продолжали вести в этом районе тяжелые бои с немцами.

После ранения под Борисовом Сусайков вернулся на полит работу и кончил войну генерал-полковником танковых войск, членом Военного совета Второго Украинского фронта и председателем Союзной контрольной комиссии в Румынии.

В дневнике сказано о том чувстве облегчения, которое я испытал, увидев 27 июня наши войска, стоявшие вдоль рокады. К этому надо добавить то, чего я тогда не знал: у поворота на Оршу я увидел в тот день одну из дивизий, входивших в группу резервных армий, созданных по решению Ставки еще 25 июня.

К 28 июня эти войска должны были полностью занять тыловой рубеж Витебск – Орша – Могилев.

Создание группы резервных армий было результатом того, что в Ставке уже пришли к выводу, что наш Западный фронт не сможет один остановить продвижение немцев. Надо было выиграть время, и, в частности, именно ради этого приказывалось действовавшей там, впереди на Минском шоссе, борисовской группе возможно дольше задерживать немцев на Березине.

Лишь через двадцать пять лет, готовя том стихов для собрания сочинений, я наткнулся на листки из блокнота, очевидно, самого первого из всех, что сохранились со времен войны. На одном из этих листков оказались неоконченные и совершенно забытые мною стихи. Я так и не вспомнил, в какой именно день и при каких обстоятельствах я наспех нацарапал их в блокноте. Но одно было для меня несомненно – стихи были написаны на Западном фронте в первые дни войны и именно об этих первых днях:

Июнь. Интендантство. Шинель с непривычки – длинна.

Мать застыла в дверях. Что это значит?
Нет, она не заплачет. Что же делать – война!
– А во сколько твой поезд?
И все же заплачет.
Синий свет на платформах. Белорусский вокзал,
Кто-то долго целует.
– Как ты сказал?
Милый, потише...
И мельканье подножек,
И ответа уже не услышать.
Из объятий,
Из слез,
Из недоговоренных слов
Сразу в пекло, на землю,
В заиканье пулеметных стволов.
Только пыль на зубах
И с убитого каска: бери!
И его же винтовка: бери!
И бомбежка.
Весь день.
И всю ночь, до рассвета.
Неподвижные, круглые, желтые, как фонари,
Над твоей головою – ракеты.
Да, война не такая, какой мы писали ее,
Это горькая штука...

Глава вторая

...Было утро 28 июня. До Могилева мы добрались часам к десяти утра. Поезд остановился на каких-то дальних путях. Мы слезли и только тут почувствовали, как проголодались. Пошли скопом в железнодорожную столовую, где всем приходящим военным бесплатно давали похлебку и мясо.

Из столовой двинулись через город к военному коменданту. Там, на другом конце города, недалеко от моста через Днепр, на широкой площади, где стояли какие-то старые пушки, толпу вернувшихся из отпусков командиров человек в двести стали делить по специальностям. В одном месте строились пехотинцы, в другом – артиллеристы, в третьем – связисты, в четвертом – политсостав. После этого деления я и военюрист оказались совсем отдельно, вдвоем.

Я добрался до начальника Могилевского гарнизона, полковника, который после того, как мы с военюристом предъявили свои бумаги, сказал нам, что штаб Западного фронта находится далеко от Могилева. Надо вернуться обратно на ту сторону через мост и идти налево по шоссе на Оршу.

Мы перешли мост и вскоре по дороге остановили «эмку» с командиром-связистом. Вся «эмка» была завалена гранатами и капсюлями. Он посадил нас, и мы, трясаясь в ней среди гранат, добрались до леса, в который уходили недавно наезженные дороги.

Было уже часа два дня. Погода испортилась, день стоял туманный и дождливый, было мокро, сыро и серо. Пройдя метров шестьсот, мы добрались до гущи леса. Там, на склонах холмов, устраивался, очевидно, только что приехавший сюда штаб. Красноармейцы торопливо вкапывали в землю автобусы и машины, маскировали их срубленными ветками.

На дороге, под дождем, стояли дивизионный комиссар в кожаном пальто и рядом с ним несколько политработников. Я обратился к дивизионному комиссару, который оказался начальником политуправления Лестевым, и представился. Рядом с Лестевым, как выяснилось, стояли редактор фронтовой газеты Западного фронта Устинов и редактор армейской газеты 10-й армии Лещинер.

Как только я представился, между обоими редакторами начался сдержанный спор вполголоса о том, куда меня взять, потому что ни где 3-я армия, ни где газета 3-й армии, в которую я был командирован, здесь никто не знал. В конце концов было решено, что я пока останусь работать во фронтовой газете.

Сидя под дождем на крыле «эмки», Устинов и я закусили сухарями с кильками. Я совершенно забыл об этой банке килек, которая лежала у меня в кармане шинели. В те дни всем нам вообще казалось, что еда – это случайность.

В дальнейших разговорах с редактором выяснилось, что газета печатается в Могилеве, что сегодняшнюю газету сюда еще не привезли, что из работников почти никого нет, еще не приехали, что редактор будет их встречать, а я – он сунул при этом мне в руку кипу заметок – должен сейчас же ехать в могилевскую типографию, обработать эти заметки и сдать в полосу.

Начинало темнеть. Я уже собрался ехать, когда вдруг из лесу выскочило несколько машин, впереди длинный черный «паккард». Из него вылезли двое. Все это происходило в нескольких шагах от меня. Лестев вытянулся и начал рапортовать:

– Товарищ маршал...

Вглядевшись, я узнал Ворошилова и Шапошникова. Меня радовало, что они оба здесь. Казалось, что наконец все должно стать более понятным. Я обошел стороной стоявшее на дороге начальство, сел в редакционную полутурку и поехал назад, в Могилев.

Все кругом было полно слухов о диверсантах, парашютистах, останавливавших машины под предлогом контроля. Шофер нервно спросил, есть ли у меня оружие.

Пока мы ехали, стало уже совсем темно. Я вынул наган и положил на колени. Когда по дороге проверяли документы или просто спрашивали, кто едет, остановив машину, я левой рукой показывал документы, а правой держал наган. Потом у меня это вошло в привычку.

Мы приехали в типографию ночью. Там же, в типографии, помещалась редакция фронтовой газеты на немецком языке. В нашей редакции мы застали там машинистку и выпускающего, больше никого не было. Я сел готовить материал и к ночи, отдиктовав все, что мог, сдал в набор.

Никто ничего не ел, и как-то даже не хотелось. Часа в два ночи я лег спать на полу, положив под голову шинель. Меня разбудил дневальный:

– Товарищ батальонный комиссар, к телефону.

Еще толком не проснувшись, я подошел к телефону. По телефону спросили:

– Товарищ Симонов?

– Да.

– Это говорит Курганов. Сейчас приеду к вам.

Мне было совершенно все равно, приедет ко мне кто-нибудь или не приедет, только бы поскорее снова уснуть. Не вдаваясь в расспросы, я сказал звонившему человеку, чтобы он приезжал, и снова лег спать. Проснулся я оттого, что меня тряс за плечи Оскар Эстеркин, в газете подписывавшийся Кургановым. Я давно его знал, но мне просто не пришло в голову, когда он говорил по телефону, что это тот самый Курганов. Точно так же, как и ему, когда он дозвонился до типографии «Красноармейской правды», не пришло в голову, что батальонный комиссар Симонов, который спит и которого он велел разбудить, это именно я.

Оскар был точно такой же, каким я привык его видеть в Москве в редакции «Правды», у Кружкова, или в театрах, и премьерах. Казалось, он все еще пишет свои театральные рецензии. На нем были кепка, измятый полосатый штатский пиджачок с орденом «Знак Почета» за полярные экспедиции, измятые брюки и стоптанные полуботинки.

Как выяснилось, именно в таком вот виде он попал 24 июня ночью в горящий Минск, а потом шел оттуда до Могилева – без малого двести километров – пешком и видел все творившееся на дорогах. Видел еще больше, чем я. Его приютили у себя секретари ЦК Белоруссии, которые приехали сюда и жили в каком-то доме под Могилевом. Оттуда он и дозволился, обрадовавшись, что нашел газету.

Мы проговорили два часа и заснули под утро.

Утром нас разбудил Устинов, предложивший ехать вместе с ним в штаб. В буфете оказались тульские пряники и свежее могилевское пиво. Мы пили его, закусывая пряниками. Вечером этого же дня в первую бомбежку Могилева пивоваренный завод был разбит.

Приехав в штаб, пошли информироваться в оперативный и в разведотдел. В лес, где он размещался, в общем, можно было пройти. Зато, попав туда, никто не мог найти, где какой отдел. Получалась конспирация шиворот-навыворот. Все это уладилось только потом, когда штаб стоял уже в Смоленске. А здесь надо было бродить часами в поисках того, что тебе нужно. Отделы штаба стояли в лесу, в палатках, а некоторые размещались прямо на машинах и около машин.

Первые бомбежки и обстрелы дорог приучили к маскировке, и маскировались в эти дни быстро и ловко. Нам рассказали, что сбиты два немецких бомбардировщика и захвачен летчик. Насколько я понял из разговоров, здесь это был первый пленный летчик.

Летчика привезли в штаб только к ночи. Это был фельдфебель с Железным крестом – первый немец, которого я видел на войне. Я шел вместе с несколькими работниками политотдела и четырьмя конвоирами, которые вели этого немца, раненного в спину.

Мы никак не могли в темноте найти разведотдел. Пока другие пошли искать его, я с конвоирами и одним политработником остался с немцем. Немца положили на траву. Он лежал с завязанными глазами и стонал. Я перекинулся с ним несколькими словами на своем убогом немецком языке. Он сказал, что ему больно, холодно, и попросил разрешения сесть. Мы его посадили.

Этот первый немец был событием. Все толпились вокруг него. Кто-то сказал, что его уже допрашивал сам маршал. Какой из маршалов, я не понял.

Накрывшись шинелью, я закурил. Огонек под шинелью едва тлел, но какое-то проходившее мимо начальство страшно закричало: «Кто курит?!»

Наконец разведотдел нашли. Немца привели в маленькую палатку, где при свете ручного фонаря, придерживая и оттягивая к земле полы палатки, чтобы не просвечивало, скорчившись, долго его допрашивали.

Это был первый увиденный мною представитель касты гитлеровских мальчишек, храбрых, воспитанных в духе по-своему твердо понимаемого воинского долга и до предела нахальных. Очевидно, именно потому, что он был воспитан в полном пренебрежении к нам и вере в молниеносную победу, он был ошарашен тем, что его сбили. Ему это казалось невероятным.

В остальном это был довольно убогий, малокультурный парень, приученный только к войне и больше ни к чему. Ландскнехт и по воспитанию и по образованию. Самое интересное было то, что, будучи сбит у Могилева и имея компас, он пошел не на запад, а на восток. Из его объяснений мы поняли, что по немецкому плану на шестой день войны немцы должны были взять Смоленск. И он, твердо веруя в этот план, шел к Смоленску.

Вернулся я в редакцию ночью. Опять на грузовике. Опять наган на коленях. И бесконечные контроли на дорогах.

Могилев бомбили. Немецкие и наши самолеты кружились над домами. Наборщик типографии, старый еврей, во время бомбежек несколько раз лазил на крышу. Он говорил, что бомба непременно пройдет через такую слабую крышу и разорвется внизу. Мы над ним смеялись, хотя он был не так далек от истины. Днем, в пять часов, была сильная бомбежка. Стоял рев моторов. Дрожали стекла, бухали взрывы. Но мне было все до такой степени безразлично, что я не мог заставить себя подняться с пола типографии, где мы лежали во время бомбежки, и посмотреть в окно. Хотя по звукам казалось, что самолеты летают буквально над нашим домом.

Ночью мы с Кургановым тоже сидели в типографии. Остальные работники редакции съехались, но ночевали где-то в палатках. Что до меня, то я предпочитал ночевать в типографии – по крайней мере, здесь был сухой пол. А к бомбежкам после первых трех суток войны я был почти равнодушен.

Настроение у меня было отчаянное. С одной стороны, газеты и радио сообщали об ожесточенных танковых боях, о сдаче каких-то небольших городков на границе – о Минске не упоминалось, сообщалось только о взятии Ковно и, кажется, Белостока. А между тем тут, в Могилеве, уже ходили слухи, что бои идут под Бобруйском и под Рогачевом. А что Борисов взят немцами, это я точно знал сам. Создавалось такое ощущение, что там, впереди, дерутся наши армии, а между нами и ними находятся немцы. Так потом в действительности здесь, на Западном фронте, и оказалось. Только с той разницей, что большинство этих наших армий было окружено и выходили они частями. Но, сидя здесь, в Могилеве, ничего нельзя было понять.

По утрам через Могилев тянулись войска. Шло много артиллерии и пехоты, но, к своему удивлению, я совсем не видел танков. Вообще на Западном фронте до 27 июля я своими глазами так и не увидел ни одного нашего среднего или тяжелого танка. А легких видел

довольно много, особенно 4–5 июля на линии обороны у Орши, о которой тогда говорили как о месте будущего второго Бородина.

Поражало, что в Могилеве по-прежнему работали парикмахерские и что вообще какие-то вещи в сознании людей не изменились. А у меня было такое смятенное состояние, что казалось, все бытовые привычки людей, все мелочи жизни тоже должны быть как-то нарушены, сдвинуты, смещены...

Прерву дневник для того, чтобы сделать несколько примечаний к сказанному в нем.

Встреченный мною в лесу около штаба дивизионный комиссар Дмитрий Александрович Лестев, начальник политуправления Западного фронта, решивший мою судьбу своим приказом – работать в газете Западного фронта «Красноармейская правда», был одним из тех людей, о которых в противоречивой обстановке войны самые разные люди неизменно вспоминали как о справедливом, храбром и прямом человеке и, характеризуя при этом его качества политработника, часто употребляли слова: «Это был настоящий комиссар». В строгом смысле слова, он по своей должности не был комиссаром, и эти слова были просто данью его высоким политическим и человеческим качествам.

Лестев был убит осенью 1941 года, в дни боев за Москву, осколком бомбы.

Слухи о диверсантах и парашютистах, опасения, которые я испытывал, возвращаясь из штаба фронта в Могилев, не были такими уж неосновательными, а готовность в случае чего стрелять первым в той обстановке, пожалуй, была благоразумной. Приведу несколько выдержек из документов того времени:

«Неизвестный командир остановил машину с командным составом штаба, заявив им, что они шпионы, и пытаясь расстрелять...»

«26 июня 1941 г. в 23 ч. 15 мин. по дороге в Борисов на автомашину, следовавшую с мобилизационными документами Слуцкого и Стародорожского райвоенкоматов, напала диверсионная банда. Имеются убитые...»

В документе, составленном начальником разведотдела штаба 21-й армии и озаглавленном «Краткие сведения по тактике германской армии. Из опыта войны», дается первая попытка обобщения складывавшегося опыта: «Отдельные диверсионно-десантные группы одеваются в красноармейскую форму командиров Красной Армии и НКВД... проникая в районы расположения наших частей. Они имеют задачу создавать панику и вести разведку».

Сказанное подтверждается немецкими данными о действиях подразделений особого полка «Бранденбург»; в частности, мост у Даугавпилса был захвачен диверсантами из этого полка, переодетыми в красноармейскую форму.

А в общем, оглядываясь на те дни, можно прийти к выводу: было и то и другое. В одних случаях действовали немецкие диверсанты, а в других – в обстановке тяжелого отступления и распространившихся слухов об обилии немецких диверсантов – свои задерживали своих.

Но в одной и той же неразберихе разные люди вели себя по-разному. Порой диаметрально противоположно.

В одном из политдонесений того времени рассказывается, как заместитель начальника воинского склада № 846 батальонный комиссар Фаустов, добравшийся после объявления войны с курорта в горящий Минск, увидев, что его склад покинут, организовал вокруг себя командиров-отпускников и отставших от разных частей красноармейцев, вооружил их и с боями вывел из окружения отряд общим числом ни много ни мало – 2757 человек.

И такое тоже было.

Несколько слов в связи с допросом немецкого летчика, о котором я пишу в дневнике. Я так и не нашел документального подтверждения, что с ним действительно разговаривал один из маршалов. Но протокол его допроса в разведотделе фронта я обнаружил. И пожа-

луй, стоит сопоставить выдержки из этого документа с непосредственным впечатлением, сложившимся у меня тогда, потому что речь, видимо, идет об одном и том же человеке:

«Опрашиваемый Хартле, служил четыре года в германских ВВС, в последней должности – в качестве радиста на борту бомбардировщика и дальнего разведчика «Хейнкель-111», который был подбит 23.VI.41 зенитной артиллерией под Слонимом во время первого полета над советской территорией.

Экипаж самолета, состоявший из командира машины капитана Хиршауэра, старшего фельдфебеля Потта, старшего фельдфебеля Индреса, фельдфебеля Функе и самого опрашиваемого Хартле – пять человек, – выполнял задачу по разрушению коммуникаций в тылу за линией фронта.

Самолет получил серьезное повреждение мотора от огня зенитной артиллерии при первом полете над территорией СССР, имея полную бомбовую нагрузку. Не выполнив задачи, самолет сбросил бомбы в открытое поле и совершил посадку с катастрофой, при которой легко раненым оказался допрашиваемый Хартле...

Экипаж самолета принадлежал эскадрилье, прибывшей из Франции...

О летных и других качествах прочих германских самолетов ничего не знает, так как летал только на «Хейнкеле-111». Участвовал в боях в Польше, Франции и Англии. За боевые заслуги во Франции награжден орденом Железного креста...

На вопрос о политико-моральном состоянии германской армии ответил, что настроение солдат и офицеров хорошее, боевое...

Перспективы войны с СССР рассматривает как полную победу Германии и что такого же мнения все солдаты в армии Германии. Офицеры разъясняют солдатам, что Германия не имела территориальных претензий к России, что все в Германии встретили с неожиданностью и даже с ошеломлением войну между Германией и Россией. Солдатам и офицерам разъяснили только одно, что отражено в приказе Гитлера, это факт сосредоточения Россией 160 дивизий против Германии с целью напасть на нее сзади.

На вопрос, как встретит германский народ Советскую Армию, если она через некоторое время вступит на германскую территорию, отвечает, что народ Германии хорошо встретит народ России, так как из опыта войны в Польше и во Франции ему известно, что после поражения этих стран народы быстро сдружились, дружат и солдаты. Если воюют между собой государства и правительства, то, по его мнению, это не дает оснований к вражде между народами...

На вопрос, что ему известно о рассуждениях Гитлера в книге «Майн кампф» об Украине, ответил, что он такой книги не читал...

Опрашивал: военный переводчик разведотдела штаба Западного фронта интендант 2-го ранга (подпись неразборчива), младший лейтенант (подпись неразборчива)».

Прочитав сейчас этот протокол, я задумался над неожиданным вопросом наших разведчиков: как встретит германский народ Советскую Армию, если она через некоторое время вступит на германскую территорию?

На вопрос, который, наверно, показался ему просто-напросто нелепым, пленный ответил ни к чему не обязывающей риторической ложью. В его голове в те дни вообще вряд ли

умещалось, что Советская Армия через какое бы то ни было время может действительно вступить на их германскую территорию!

И не приходилось осуждать его за недалекость. Не только он, но и наступавшие тогда по сорок – шестьдесят километров в сутки Гудериан и Гот, и уже вышедший передовыми частями к Березине командующий 4-й армией Клюге, и главнокомандующий сухопутными войсками Браухич, и начальник Генерального штаба сухопутных войск Гальдер – что бы там некоторые из них ни писали потом, после войны, – никто из них тогда не допускал, разумеется, и мысли, что эта «полностью разгромленная» ими на Восточном фронте Советская Армия когда-нибудь вступит на территорию Германии.

О Гитлере не приходилось и говорить. Всего через неделю после того, как пленный разговаривал с нами под Могилевом, Гитлер в одной из своих неофициальных бесед, записанных с его разрешения Борманом, думал уже не о Могилеве, и не о Смоленске, и даже не о Москве – Москва уже стала в его мыслях лишь промежуточным пунктом, который, «как центр доктрины, должен исчезнуть с лица земли». На четырнадцатый день войны Гитлер претендовал на гораздо большее: «Когда я говорю: «По ту сторону Урала», – то я имею в виду линию двести – триста километров восточнее Урала... Мы сможем держать это восточное пространство под контролем».

Что уж тут спрашивать с пленного фельдфебеля! Но почему же все-таки наши разведчики задали немцу этот сохранившийся в протоколе и показавшийся ему таким нелепым вопрос: что будет, если через некоторое время Советская Армия вступит на территорию Германии?.. Каким представлялось им тогда, в той обстановке, это «некоторое время»? Видимо, молодые офицеры разведотдела, несмотря на все неудачи, обрушившиеся на наш Западный фронт, все-таки верили, что через некоторое, не столь уж продолжительное время дела повернутся к лучшему. Если бы они этого не думали, у них не было бы ни внутренней потребности, ни нравственной силы задать этот странно прозвучавший тогда вопрос.

И второе, что меня заинтересовало, когда я сравнивал этот документ со своим дневником: откуда появилась в дневнике подробность, что немец, будучи сбит и имея компас, пошел не на запад, а на восток? Действительно ли он говорил, что немцы по плану должны были к 28 июня взять Смоленск, а если говорил, то почему это не попало в протокол допроса? Сейчас, задним числом, думаю, что вряд ли он говорил это. Просто был факт: от места катастрофы немец несколько дней шел по компасу не на запад, а на восток. И очевидно, после допроса, обсуждая этот факт, кто-то из нас сам предположил, что летчик шел на восток, потому что немцы, по их плану, уже должны были занять Смоленск.

В те дни, после первых неудач, потрясших душу своей неожиданностью, очень хотелось верить, что, несмотря на всю быстроту продвижения немцев, они рассчитывали на еще большее и у них не все выходит так, как они запланировали.

И эта вера вскоре начала оправдываться; чем дальше, тем чаще немцы встречались с не запланированной ими силой сопротивления, вносящей все большие изменения в их планы. Но в те дни, о которых идет речь в дневнике, как раз на Западном фронте, где немцы, сосредоточив наибольшие силы, наносили свой главный удар, им сопутствовали наибольшие успехи. И надо отдать должное нашим военным, они поняли: для того чтобы строить реальные планы дальнейших действий, необходимо было, как это ни горько, трезво оценить масштабы всего происшедшего на Западном фронте.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» можно познакомиться с теми выводами, которые сделал штаб фронта по первым десяти дням боев.

Вот как выглядит этот документ, подписанный генерал-лейтенантом Г.К. Маландиным: «В итоге девятидневных упорных боев противнику удалось вторгнуться на нашу территорию на глубину – 400 километров и достигнуть рубежа реки Березина. Главные и лучшие

войска Западного фронта, понеся большие потери в личном составе и материальной части, оказались в окружении в районе Гродно, Гайновка, бывшая госграница...

Характерной особенностью немецких ударов было стремительное продвижение вперед, не обращая внимания на свои фланги и тылы. Танковые и моторизованные соединения двигались до полного расхода горючего.

Непосредственное окружение наших частей создавалось противником сравнительно небольшими силами, выделяемыми от главных сил, наносивших удар в направлениях Алитус – Вильно – Минск и Брест – Слуцк – Бобруйск.

Второй характерной особенностью являются активные и ожесточенные действия авиации, небольших десантных отрядов по глубоким тылам и коммуникациям с целью парализации управления и снабжения наших войск... На направлениях главных ударов противник сосредоточил почти все свои имеющиеся силы, ограничиваясь на остальных направлениях незначительными частями или даже вовсе не имея там сил, а лишь ведя разведку». Я привел лишь один документ, но решимость сказать суровую правду проходит через множество документов того времени и дивизионного, и корпусного, и армейского масштаба. К чести людей, о которых я говорю, тревога за судьбу своей страны оказалась для них выше всех привходящих соображений.

История, а точнее – люди, делавшие эту историю, вскоре внесли в дальнейший ход войны ряд поправок в нашу пользу. Непредвиденно для немцев сквозь все их окружения в последующие недели и месяцы пробились с оружием в руках или просочились мелкими группами десятки тысяч военных людей, считавшихся погибшими, и некоторым из этих людей потом еще довелось брать и Кенигсберг и Берлин. А другие десятки тысяч тоже оказались не в плену у немцев, а три года воевали в партизанских отрядах Белоруссии и в 1944 году сказали свое последнее слово, содействуя разгрому в Минском и Бобруйском котлах той самой немецкой группы армий «Центр», которая в июне 1941 года брала Минск и Бобруйск.

Думая об этих поправках, внесенных историей, можно лишь гордиться мужеством своих соотечественников.

Когда-то, за три года до войны, в 1938 году, я написал стихотворение «Однополчане», кончавшееся такими строками:

Под Кенигсбергом на рассвете
Мы будем ранены вдвоем,
Отбудем месяц в лазарете,
И выживем, и в бой пойдем.
Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколение
В железный узел, навсегда.

В конце концов именно так оно и вышло. Но в июне сорок первого дистанция до этого упомянутого в стихах Кенигсберга пока что с каждым днем все увеличивалась. Реальность, отраженная в моем военном дневнике, была куда суровей моих предвоенных поэтических прогнозов.

...Наша газета работала в пустоту. Ни о какой полевой почте, ни о какой регулярной рассылке газет не было и помину. Печаталось тысяч сорок экземпляров, и их развозили повсюду, куда удавалось, на собственных двух-трех грузовиках. И попадали они в одну, две, три дивизии. А о том, чтобы газета расходилась по всему фронту, в те дни не могло быть и речи.

Я вызвался ехать под Бобруйск с газетами, которые мы должны были развезти на грузовике во все встреченные нами части. С газетами поехали шофер-красноармеец, я и младший политрук Котов – высокий, казачьего вида парень в синей кавалерийской фуражке и в скрипучих ремнях. Он меня называл строго официально «товарищ батальонный комиссар» и настоял на том, чтобы я ехал в кабине.

Едва мы выехали из Могилева на Бобруйск, как увидели, что вокруг повсюду роют. Это же самое я видел потом ежедневно весь июль. Меня до сих пор не оставляет ощущение, что вся Могилевщина и вся Смоленщина изрыты окопами и рвами. Наверное, так это и есть, потому что тогда рыли повсюду. Представляли себе войну еще часто как нечто линейное, как какой-то сплошной фронт. А потом часто так и не защищали всех этих нарытых перед немцами препятствий. А там, где их защищали, немцы, как правило, в тот период обходили нас.

Вокруг Могилева рыли, и на душе возникало тяжелое чувство, хотя, казалось, пора бы уже привыкнуть, что надо быть готовым ко всему.

Примерно после сорокового или пятидесятого километра нам навстречу стали попадаться по одному, по два грязные, оборванные, потерявшие военный вид люди – окруженцы.

Мы долго не встречали никаких войск. Только в одном месте, в лесу при дороге, стоял отряд НКВД. На дороге размахивал руками и распоряжался полковник, но порядка от этого все равно не получалось.

Мы раздавали свои газеты. У нас их было в кузове десять тысяч экземпляров. Раздавали их всем вооруженным людям, которых встречали, одиночкам или группам, – потому что не было никакой уверенности и никаких сведений о том, что мы встретим впереди организованные части.

Километров за двадцать до Бобруйска мы встретили штабную машину, поворачивавшую с дороги налево. Оказалось, что это едет адъютант начальника штаба какого-то корпуса, забыл его номер.

Мы попросились поехать вслед за ним, чтобы раздать газеты в их корпусе, но он ответил, что корпус их переместился и он сам не «знает, где сейчас стоит их корпус, сам ищет начальство. Тогда по его просьбе мы отвалили в его «эмку» половину наших газет. Над дорогой несколько раз проходили низко немецкие самолеты. Лес стоял сплошной стеной с двух сторон. Самолеты выскакивали так мгновенно, что слезать с машины и бежать куда-то было бесполезно и поздно. Но немцы нас не обстреливали.

Километров за восемь до Березины нас остановил стоявший на посту красноармеец. Он был без винтовки, с одной гранатой у пояса. Ему было приказано направлять шедших от Бобруйска людей куда-то направо, где что-то формировалось. Он стоял со вчерашнего дня, и его никто не сменял. Он был голоден, и мы дали ему сухарей.

Еще через два километра нас остановил милиционер. Он спросил у меня, что ему делать с идущими со стороны Бобруйска одиночками: отправлять их куда-нибудь или собирать вокруг себя? Я не знал, куда их отправлять, и ответил ему, чтобы он собирал вокруг себя людей до тех пор, пока не попадется какой-нибудь командир, с которым можно будет направить их назад группой под командой к развилке дорог, туда, где стоит красноармеец.

Над нашими головами прошло десятка полтора ТБ-3 без сопровождения истребителей. Машины шли тихо, медленно, и при одном воспоминании, что здесь кругом шныряют «мессершмитты», мне стало не по себе.

Проехали еще два километра. Впереди слышались сильные разрывы бомб. Когда мы уже были примерно в километре от Березины и рассчитывали, что проедем в Бобруйск и встретим там войска или встретим их на берегу Березины, из лесу вдруг выскочили несколько человек и стали отчаянно махать нам руками. Сначала мы не остановились, но

потом они начали еще отчаяннее кричать и еще сильнее махать руками, и я остановил машину.

К нам подбежал совершенно побелевший сержант и спросил, куда мы едем. Я ответил, что в Бобруйск. Он сказал, что немцы переправились уже на этот берег Березины.

– Какие немцы?

– Танки и пехота.

– Где?

– В четырехстах метрах отсюда. Вот сейчас там у нас был с ними бой. Убиты лейтенант и десять человек. Нас осталось всего семь, – сказал сержант.

Мы заглушили мотор машины и услышали отчетливую пулеметную стрельбу слева и справа от дороги – совсем близко, несомненно, уже на этой стороне.

Мы сказали, чтобы сержант с бойцами подождал нас здесь, на опушке, мы все-таки попробуем немножко проехать вперед. Проехали метров триста и вдруг увидели, что прямо на шоссе на брюхе лежит совершенно целый «мессершмитт». Трое мальчишек копались в нем, разбирая пулемет и растаскивая из лент патроны. Мы спросили, не видели ли они летчика. Они сказали, что нет, но каких-то трое военных пошли в лес искать летчика. Рядом с самолетом лежал окровавленный шлем. Очевидно, летчик был ранен и ушел в лес.

Пулеметная стрельба была теперь совсем близко. Мы повернули и доехали до ждавших нас на опушке красноармейцев. Теперь их стало больше, набралось уже человек пятнадцать.

Я посадил их всех на грузовик, и мы поехали назад, километра за полтора, где влево уходила проселочная дорога.

На нашу машину подсели еще несколько человек. Мы свернули налево, думая, что, может быть, хоть там, на этом проселке, есть какие-нибудь части.

На проселке нам встретился еще десяток красноармейцев. Мы с Котовым собрали их всех вместе – теперь уже человек сорок, – назначили над ними командиром старшего лейтенанта и приказали расположиться здесь, в леске, выслав в стороны по два человека искать какую-нибудь часть, к которой могла бы присоединиться вся их группа.

Потом мы развернулись и выехали обратно на шоссе. И здесь я стал свидетелем картины, которой никогда не забуду. На протяжении десяти минут я видел, как «мессершмитты» один за другим сбили шесть наших ТБ-3. «Мессершмитт» заходил ТБ-3 в хвост, тот начал дымиться и шел книзу. «Мессершмитт» заходил в хвост следующему ТБ-3, слышалась трескотня, потом ТБ-3 начинал гореть и падать. Падая, они уходили очень далеко, и черные высокие столбы дыма стояли в лесу по обеим сторонам дороги.

Мы доехали до красноармейца, по-прежнему стоявшего на развилке дорог. Он остановил машину и спросил меня:

– Товарищ батальонный комиссар, меня вторые сутки не сменяют. Что мне делать?

Видимо, тот, кто приказал ему стоять, забыл про него. Я не знал, что делать с ним, и, подумав, сказал, что, как только подойдет первая группа бойцов с командиром, пусть он присоединится к ней.

Через два километра нам попала машина, стоявшая на дороге из-за того, что у нее кончился бензин. Мы перелили им часть своего бензина, чтобы они могли доехать до какой-то деревни поблизости, куда им приказано было ехать. А они перегрузили к нам в кузов двух летчиков с одного из сбитых ТБ-3.

Один из летчиков был капитан с орденом Красного Знамени за финскую войну. Он не был ранен, но при падении разбился так, что еле двигался. Другой был старший лейтенант с раздробленной, кое-как перевязанной ногой. Мы забрали их, чтобы отвезти в Могилев. Когда сажали их в машину, капитан сказал мне, что этот старший лейтенант – известный летчик, специалист по слепым полетам. Кажется, его фамилия была Ищенко. Мы подняли его на руки, положили в машину и поехали.

Не проехали еще и километра, как совсем близко, прямо над нами, «мессершмитт» сбил еще один – седьмой ТБ-3. Во время этого боя летчик-капитан вскочил в кузове машины на ноги и ругался страшными словами, махал руками, и слезы текли у него по лицу. Я плакал до этого, когда видел, как горели те первые шесть самолетов. А сейчас плакать уже не мог и просто отвернулся, чтобы не видеть, как немец будет кончать этот седьмой самолет.

– Готов, – сказал капитан, тоже отвернулся и сел в кузов.

Я обернулся. Черный столб дыма стоял, казалось, совсем близко от нас. Я спросил старшего лейтенанта, может ли он терпеть боль, потому что я хочу свернуть с дороги и поехать по целине к месту падения самолета – может быть, там кто-нибудь спасся. Летчику было очень больно, но он сказал, что потерпит. Мы свернули с дороги и по ухабам поехали направо. Проехали уже километров пять, но столб дыма, казавшийся таким близким, оставался все на том же расстоянии.

На развилке двух проселков нас встретили мальчишки, которые сказали, что туда, к самолету, уже поехали милиционеры. Тогда, видя, что раненый летчик на этих ухабах еле сдерживает стоны и терпит страшную боль, я решил вернуться обратно на шоссе.

Едва мы выехали на шоссе, как над нами произошел еще один воздушный бой. Два «мессершмитта» атаковали ТБ-3, на этот раз шедший к Бобруйску совершенно в одиночку. Началась сильная стрельба в воздухе. Один из «мессершмиттов» подошел совсем близко к хвосту ТБ-3 и зажег его.

Самолет, дымя, пошел вниз. «Мессершмитт» шел за ним, но вдруг, кувырнувшись, стал падать. Один парашют отделился от «мессершмитта» и пять от ТБ-3. Был сильный ветер, и парашюты понесло в сторону. Там, где упал ТБ-3 – километра два-три в сторону Бобруйска, – раздались оглушительные взрывы. Один, другой, потом еще один.

Я остановил машину и, посоветовавшись с Котовым, сказал летчикам, что нам придется их выгрузить, вернуться к тому месту, где опустились наши сбросившиеся с самолета летчики, и, взяв их, потом ехать всем вместе в Могилев. Раненый летчик только молча кивнул головой. Мы вынесли его из машины на руках и положили под деревом. Там, вместе с ним под деревом, остались Котов, второй летчик, капитан и два раненых красноармейца, которых мы подобрали по дороге.

Я сказал капитану, чтобы он до моего возвращения был здесь старшим, а сам вдвоем с шофером поехал назад.

Мы проехали обратно по шоссе три километра. Столб дыма и пламени стоял вправо от шоссе. По страшным кочкам и ухабам мы поехали туда, взяв по дороге на подножку машины двух мальчишек, чтобы они показали нам путь.

Наконец мы добрались до места падения самолета, но подъехать к этому месту вплотную было невозможно. Самолет упал посреди деревни с полной боевой нагрузкой и с полными баками горючего. Деревня горела, а бомбы и патроны продолжали рваться. Когда мы подошли поближе, то нам даже пришлось лечь, потому что при одном из взрывов над головой просвистели осколки.

Несколько растерянных милиционеров бродили кругом по высоким хлебам в поисках спустившихся на парашютах летчиков. Я вышел из машины и тоже пошел искать летчиков. Вскоре мы встретили одного из них. Он сбросил с себя обгоревший комбинезон и шел только в бриджах и фуфайке. Он показался мне довольно спокойным. Встретив нас, он, морщась, выковырял через дыру в фуфайке пулю, засевшую в мякоти ниже плеча.

Он остался там, у деревни, а милиционеры, водитель и я, разойдясь цепочкой, пошли дальше по полю. Рожь стояла почти в человеческий рост. Долго шли, пока наконец я не увидел двух человек, двигавшихся мне навстречу. Мы все шли на розыск с оружием в руках, потому что сбросились не только наши летчики, но и немец. Но, когда я увидел двоих вместе,

я понял, что это наши, и начал им махать рукой. Они сначала стояли, а потом пошли мне навстречу с пистолетами в руках.

Еще не предвидя того, что произойдет потом, но понимая, что эти двое не могут быть немцами, я спрятал наган в кобуру. Летчики подходили ко мне все ближе и, когда подошли шагов на пять-шесть, направили на меня пистолеты.

– Кто? Ты кто?

Я сказал:

– Свой!

– Свой или не свой! – крикнул один из летчиков. – Я не знаю, свой или не свой! Я ничего не знаю!

Я повторил, что тут все свои, и добавил:

– Видишь, у меня даже наган в кобуре.

Это его убедило, и он, все еще продолжая держать перед моим носом пистолет, сказал уже спокойнее:

– Где мы? На нашей территории?

Я сказал, что на нашей. Подошли милиционеры, и летчики окончательно успокоились. Один из них был ранен, другой сильно обожжен. Мы вернулись вместе с ними к третьему, оставшемуся у деревни. Туда же за это время пришел и четвертый. Пятого отнесло куда-то в лес, и его продолжали искать. Куда отнесло на парашюте немца, никто толком не видел.

Летчики матерно ругались, что их послали на бомбежку без сопровождения, рассказывали о том, как их подожгли, и радовались, что все-таки сбили хоть одного «мессершмитта». Но меня, видевшего только что всю картину гибели восьми бомбардировщиков, этот один сбитый «мессер» не мог утешить. Слишком дорогая цена.

Мы не стали ждать, пока найдут пятого летчика, – на это могло уйти несколько часов, а у меня оставались на дороге раненые. Я забрал с собой этих четырех летчиков, из которых двое тоже были легко ранены, а третий обожжен, посадил их в кузов и поехал обратно.

На шоссе, в полукилометре от того места, где я оставил своих спутников, меня встретил стоявший прямо посреди дороги бледный Котов. Рядом с ним стоял какой-то немолодой гражданский с велосипедом. Я остановил машину.

– Почему вы здесь? – спросил я Котова.

– Случилось несчастье, – сказал он трясущимися губами. – Несчастье.

– Какое несчастье?

– Я убил человека.

Стоявший рядом с ним гражданский молчал.

– Кого вы убили?

– Вот его сына. – Котов показал на гражданского.

И вдруг гражданский рыдающим голосом закричал:

– Четырнадцать лет! Какой человек? Мальчик! Мальчик!

– Как это случилось? – спросил я.

Котов стал объяснять что-то путаное, что кто-то побежал через дорогу по полю и он принял этих бежавших за немецких летчиков, потому что упал немецкий бомбардировщик, и он выстрелил и убил.

– Как он мог принять за летчика мальчика четырнадцати лет? Просто убил, и все! – снова закричал гражданский и заплакал.

Я ничего не понимал и не знал, что делать.

– Садитесь в машину оба. Поедем! – сказал я.

Котов и гражданский сели в кузов, и мы поехали туда, где под большим деревом ждали нас остальные. Оставшийся за старшего летчик-капитан растерянно рассказал мне, что недалеко в лесу упал сбитый немецкий бомбардировщик и были видны два спускавшихся

парашюта. Котов, взяв с собой двух легко раненных красноармейцев, пошел туда, поближе к опушке, и увидел, что от опушки метрах в шестистах от него перебежали двое в черных комбинезонах. Он стал кричать им «стой!», но они побежали еще быстрее. Тогда он приложился и выстрелил. С первого же выстрела один из бежавших упал, а второй убежал в лес. Когда Котов вместе с красноармейцами дошли до упавшего, то увидели, что это лежит убитый наповал мальчик в черной форме ремесленного училища. Вскоре туда же прибежал его отец – этот человек с велосипедом, бухгалтер колхоза.

Что было делать? Отец плакал и кричал, что Котова надо расстрелять, что Котов убил его сына, единственного сына, что мать еще не знает об этом и он сам даже не знает, как ей об этом сказать. Он требовал от меня, чтобы я оставил Котова здесь, в их деревне, в километре отсюда, пока он не вызовет кого-нибудь из местного НКВД.

Слушая его отчаянный, ожесточенный голос, я вдруг понял: если оставить здесь Котова, то вполне возможно, что отец убитого и соседи, даже тот местный участковый милиционер, да и всякий другой, кто тут окажется, в том нервном, отчаянном состоянии, которое сегодня здесь у всех, просто устроят самосуд и вместо одного убитого будут двое.

Я сказал, что не могу оставить здесь Котова и что сдам его в военную прокуратуру в Могилеве, куда я возвращаюсь. Отец мальчика стал кричать, что я хочу скрыть все это дело и что нет, он не отпустит Котова, что так нельзя. Тогда я сказал Котову, что он арестован, отобрал у него оружие и патроны, посадил его в кузов грузовика и в присутствии отца убитого приказал одному из красноармейцев охранять Котова и, если Котов попытается бежать, стрелять по нему. Потом записал на бумажку свою фамилию и место службы – редакцию, отдал бумажку отцу убитого и твердо обещал, что это дело будет разобрано.

Времени терять было нельзя. Я сел в машину, и мы рванулись с места. Отец убитого стоял на дороге – раздавленный горем человек, к тому же еще угнетенный, наверно, мыслью, что я скрою случившееся.

Спустя километр мы пронеслись через деревню. Стояла толпа, слышались вопли и крики. Наверно, только что узнали о случившемся. Я еще раз подумал, что действительно здесь могли бы устроить самосуд над Котовым.

Всю обратную дорогу мы ехали молча. Сначала сзади еще доносилась артиллерийская стрельба, потом стало тихо. Как я позже узнал, немцы в этот день с утра действительно форсировали Березину около Бобруйска. Их отбивало в пешем строю растянутое на двенадцать километров Бобруйское танковое училище, которое на следующий день, когда немцы окончательно переправились, полегло там, в лесах, в неравном бою.

В Могилев мы вернулись только к ночи. Я отвез всех раненых в госпиталь. В темноте их долго не принимали, шла какая-то канитель. У меня еще было наивное штатское представление, что к каждому привезенному раненому должны сразу выскочить все врачи и сестры. Меня удивило, с каким спокойствием в ту ночь принимали у меня раненых – так показалось мне, – хотя, в сущности, это была нормальная жизнь госпиталя, круглые сутки принимающего раненых. К этому я привык только потом.

Сдав раненых, я вместе с Котовым и летчиком-капитаном вернулся в редакцию. Там, попросив редактора, чтобы из комнаты ушли посторонние, я положил ему на стол пистолет и патроны, отобранные у Котова, и доложил о происшедшем. Летчик, со своей стороны, как свидетель, тоже рассказал об этом. Он был удручен, так как оставался в мое отсутствие старшим и чувствовал себя в какой-то степени ответственным за эту дику историю.

Устинов неожиданно для меня отнесся ко всему происшедшему спокойней, чем я думал, и сказал, что доложит об этом члену Военного совета фронта, а пока что потребовал, чтобы Котов сдал ему свои документы. Оказалось, что у Котова никаких документов нет, что он в растерянности, уговаривая отца убитого подождать, пока я вернусь, отдал ему в залог свои документы и потом так и не взял их.

Я написал короткую объяснительную записку. То же самое сделал летчик, и мы, смертельно усталые, повалились спать на полу рядом все трое.

Так кончился этот день.

Засыпая, я думал о Котове. Мне казалось, что его признают виновным и, может быть, расстреляют. Хотя сделал все, что мог, чтобы спасти его от самосуда, но мне казалось, что за гибель мальчика, которая могла произойти только в обстановке общей нервозности этого дня, Котова будут судить и, возможно, расстреляют. Другие меры наказания в те дни не приходили в голову. Казалось, что с человеком можно сделать только одно из двух – или расстрелять, или простить.

Потом, на следующий день, я узнал, что когда о случившемся доложили члену Военного совета, то он, расспросив, как до этого вел себя Котов, и узнав, что хорошо, сказал:

– Ну что же, пусть загладит свою вину на войне.

В те дни мне еще казалось, что даже совершенно нечаянное убийство человека из-за своей непоправимости все равно такое деяние, за которое нельзя не понести наказания... И все-таки, в общем, наверно, все это было правильно тогда – и то, что не оставил Котова одного там, на дороге, когда ему грозил самосуд, и то, что его потом простили. Мальчика не вернешь все равно, а в живых остался все-таки лишний солдат...

В дневнике нет точной даты нашей поездки под Бобруйск. Сейчас, после проверки, могу назвать ее – это было 30 июня. Но, чтобы объяснить картину, которую мы увидели в этот день на шоссе Могилев – Бобруйск и над ним, надо, обратившись к документам, вернуться еще на несколько дней назад.

Захват Бобруйска и переправа через Березину были связаны с быстрым продвижением правого фланга группы Гудериана. Переправившись через Березину у Бобруйска, немецкие танковые и механизированные части не пошли на северо-восток, на Могилев, а рванулись в обход его, прямо на восток, к Днепру, на Рогачев, и захватили его.

В дневном сообщении Информбюро за 1 июля впервые упоминается о Бобруйском направлении, где «всю ночь наши войска вели бои с подвижными частями противника, противодействуя их попыткам прорваться на восток. В бою участвовали пехота, артиллерия, танки и авиация». Сводки Информбюро в тот период, как правило, отставали от молниеносно развертывающихся событий. Но в данном случае Бобруйское направление появилось в сводке почти сразу после того, как оно действительно возникло. Скажу попутно, что сам термин «направление», по поводу неопределенности которого мы тогда, случалось, говорили между собой с маскировавшей душевную боль горькой иронией, сейчас, по зрелому размышлению, мне кажется для того времени оправданным не только с чисто военной точки зрения, но и психологически.

Слова «Бобруйское направление», к примеру, давали общее географическое представление о глубине нанесенного нам удара, в то же время уводя от конкретного перечисления всех отданных немцам пунктов. Все случившееся в начале войны было такой огромной силы психологическим ударом, что можно понять тогдашнее нежелание вдаваться в устрашающую детализацию и без того грозных сообщений.

Что же касается армейских и фронтовых сводок, то происходившие на Бобруйском направлении события с самого начала излагались, как правило, точно, если не считать пробелов, связанных с обрывами связи и недостаточной информацией.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» слово «Бобруйск» упоминается впервые 26 июня: «4-я армия продолжала отходить за Бобруйск».

Следующее упоминание о Бобруйске в «Журнале» появляется 28 июня: «Противник, развивая наступление передовыми подвижными частями... на левом фланге овладел Бобруйском и готовил форсирование Березины».

В «Журнале» приводится сводка штаба 4-й армии: «Сводный отряд... под командованием командира 47-го стрелкового корпуса успешно отражал попытки противника форсировать Березину в районе Бобруйска».

Что представлял из себя этот сводный отряд, которому была поставлена задача не допустить переправы немецких танков через Березину, дает представление донесение его командира генерала Поветкина. Вечером 28 июня отряд состоял из сводного полка – 900 человек, автотракторного училища – 440 человек, 246-го стрелкового батальона – 300 человек, 273-го батальона связи – 300 человек и 21-го дорожно-эксплуатационного полка – 800 человек. А всего около двух с половиной тысяч человек из пяти разных частей. Кстати сказать, сам генерал Поветкин, дважды раненный и контуженный в бою еще 29 июня, продолжал командовать сводным отрядом до конца его действий – до 3 июля.

О входившем в сводный отряд Бобруйском тракторном училище (которое я в дневнике по ошибке назвал танковым) упоминается в том же донесении политуправления Западного фронта, где впервые сообщается о подвиге Гастелло. В нем говорится, что курсанты училища ведут разведку в уже захваченном немцами Бобруйске и о том, как в одной из таких разведок курсант Иванов, получив четыре ранения, истекая кровью, все-таки переплыл обратно реку и доложил полученные им данные.

О дальнейших событиях, происходивших 30 июня, дают представление оперативные сводки и «Журналы боевых действий». В сводке за 30 июня говорится, что ночью с 29-го на 30-е немцам не удалось переправиться через Березину, их попытки переправиться были отбиты.

Утром 30-го немцы продолжают попытки форсировать Березину, и в 8 часов утра их первые три танка оказываются на этом берегу.

В «Журнале боевых действий 4-й армии» появляются драматические слова: «Нечем поддерживать пехоту. Осталось три противотанковых орудия ПТО и две 76-мм пушки. Части сводного отряда начали отход».

После этого рассказывается о том, как командующий 4-й армией генерал-майор Коробков, выбросив на помощь отряду один батальон 42-й стрелковой дивизии, сам с группой командиров выехал на передовую.

Дальше в «Журнале» записано, что под руководством командарма был организован сводный батальон из отходящих людей, расставлены противотанковые орудия и приостановлено отступление.

В 7 часов вечера, как указывается в «Журнале», атака противника была отбита на рубеже реки Олы. «После ожесточенного боя к 19.30 30 июня противнику удалось переправить до 93 танков и бронемашин и несколько десятков мотоциклистов. Большое количество переправившихся танков направилось в северном направлении на Могилев». Так выглядел этот день – 30 июня – в «Журнале боевых действий войск Западного фронта».

Березину форсировал 24-й немецкий танковый корпус. В авангарде его шла 3-я танковая дивизия генерал-лейтенанта Моделя.

По иронии судьбы ровно три года спустя, 28 июня 1944 года, именно этот генерал Модель, уже в чине фельдмаршала, вновь прибыл именно сюда, сменив на посту командующего группой армий «Центр» фельдмаршала Буша, в тот момент, когда главные силы 9-й германской армии были окружены нами как раз в районе Бобруйска.

Повествуя о событиях, происходивших ровно через три года в этих же самых местах, немецкий военный историк Типпельскирх выразительно назвал эту главу своей книги: «Крах немецкой группы армий «Центр».

Но тогда, 30 июня 1941 года, до всего этого было еще безмерно далеко.

В дневнике сказано, что мы были уже почти у Березины, когда нашу машину остановили выскочившие из лесу бойцы. Теперь, после войны, заново проехав эту дорогу, я понял,

что все было не совсем так, как мне тогда сгоряча показалось. В середине дня 30 июня мы не могли оказаться в километре от Березины – там в это время были уже немцы. В действительности мы совсем немного не доехали до реки, но не до Березины, а, как я теперь понимаю, до той маленькой речки Олы, где как раз в это время пытался задержать немцев генерал Коробков. Очевидно, именно через эту речку Олу переправилось несколько немецких танков с десантами. С ними и вела бой та группа бойцов, остатки которой остановили нас на шоссе.

Кто знает, сами ли они спутали Березину с Олой или просто кричали нам о немецких танках и пехоте, только что переправлявшихся через реку, а мы, держа в уме Березину, решили, что речь идет о ней?

А теперь о самом главном, о чем мне хочется рассказать в связи с этими страницами дневника, – о том сплаве героического и трагического, который характерен был в эти дни для действий нашей авиации.

Вполне понятно, что первое же известие о том, что немцы начали переправу у Бобруйска, грозившую тяжкими последствиями для всего южного крыла нашего Западного фронта, вызвало в штабе фронта острую тревогу. Очевидно, этим и продиктована телеграмма, которую я нашел среди других документов тех дней. «Ответственного дежурного зовите! Всем соединениям ВВС Западного фронта. Немедленно. Всеми силами эшелонировано, группами уничтожить танки и переправы в районе Бобруйска».

Телеграмма подписана командующим фронтом Павловым и Таюрским, вступившим в командование воздушными силами Западного фронта после гибели застрелившегося в первые дни войны генерала Копец.

Есть все основания предполагать, что по этой категорической телеграмме штаба фронта было поднято в воздух и в течение дня брошено на Бобруйск все или почти все, чем располагали к тому моменту бомбардировочная авиация Западного фронта и приданный ей Ставкой 3-й дальний бомбардировочный корпус.

Мощные, с большим радиусом действия тяжелые бомбардировщики ТБ-3, которые когда-то успешно высаживали на Северный полюс Папанина, а уже в 1939 году на Халхин-Голе из-за своей тихоходности использовались исключительно ночью, здесь, на Западном фронте, входили главным образом в состав 3-го дальнего бомбардировочного авиакорпуса.

В сводке о потерях материальной части авиации Западного фронта говорится, что за 30 июня 3-м авиакорпусом, в составе которого действовали полки ТБ-3, была потеряна 21 машина. На них 5 сбиты в воздушных боях и 16 не вернулись с боевых заданий.

В число этих потерь за 30-е, очевидно, входят и те восемь ТБ-3, гибель которых я своими глазами видел над шоссе Могилев – Бобруйск.

Целый ряд документов говорит о том, что 30 июня наша авиация, в том числе ТБ-3, нанесла немцам под Бобруйском чувствительные удары и, по крайней мере частично, выполнила свою задачу. В донесениях летчиков говорится о бомбежке скоплений немецких танковых частей на переправе и в лесу севернее Бобруйска, о бомбежке Бобруйского аэродрома, о том, что выполнено задание зажечь лес в районе другой переправы, южнее Бобруйска, говорится о том, что в Бобруйске пожары, а мост через Березину взорван, о бомбежке механизированных частей немцев юго-западнее Бобруйска и немецких тылов на дороге Глуша – Бобруйск.

Донесения летчиков подтверждаются донесениями с земли. В одном из них указывается, что начатая немцами через Березину переправа прервана налетом нашей авиации, в другом сообщается, что семь наших бомбардировщиков бомбят переправу противника... Есть и другие донесения такого же характера.

Таким образом, летчики сделали все, чтобы выполнить задачу, поставленную перед ними категорической телеграммой штаба фронта. Другой вопрос, чего это стоило среди бела дня, когда немецкая истребительная авиация господствовала в воздухе.

Летчики один за другим сообщают, что во время выполнения заданий непрерывно подвергаются атакам немецких истребителей, что на Бобруйском аэродроме находится около двадцати «Мессершмиттов-109», что немцы посадили на других ближайших аэродромах много «Мессершмиттов-109». И все это дополняется донесениями об ожесточенном огне немецкой зенитной артиллерии, действия которой в дневных условиях были особенно сокрушительны по тихоходным ТБ-3.

В донесениях бомбардировочных авиаполков, действовавших под районом Бобруйска, встречается несколько упоминаний о убитых «мессершмиттах». Как ни велико было неравенство в силах между «мессершмиттами» и ТБ-3, все-таки не все немецкие истребители оставались безнаказанными. Очевидно, это следует объяснить мужеством хвостовых стрелков на наших бомбардировщиках: даже в безнадежном положении, с горящих самолетов, они продолжали вести огонь и иногда сбивали тех немцев, которые, рассчитывая на безнаказанность, приближались вплотную к подбитым, дымящимся бомбардировщикам.

В некоторых донесениях указывается, что часть экипажей самолетов выбросилась и вернулась на аэродромы, а стрелки этих же самолетов были убиты в воздухе. Во всяком случае, я своими глазами видел два сбитых «мессершмитта». Да и тот немецкий бомбардировщик, из которого, по словам моего спутника Котова, выбросились на парашютах два человека, скорее всего был тоже не бомбардировщик, а двухместный истребитель «Мессершмитт-110».

Трагедия, которая произошла в районе Бобруйска 30 июня с нашими пошедшими на дневную бомбежку ТБ-3, обратила на себя внимание даже на общем тяжелом фоне всего происходившего в те дни. Об этом свидетельствует телеграмма, посланная на следующий день, 1 июля, командиром 3-го дальнего бомбардировочного корпуса полковником Н.С. Скрипко (впоследствии – маршал авиации). «Вручить немедленно командующему ВВС Зап. фронта. Могилев... Чрезмерно большое количество потерь 30 июня 41 г. дальней бомбардировочной авиации происходило из-за отсутствия наших истребителей над целью и неподавления огня зенитной артиллерии... Для действия дальней бомбардировочной авиации прошу указать, когда можно иметь обеспечение истребителями и штурмовые действия по зенитной артиллерии... Полковник Скрипко».

На этой телеграмме стоит карандашная резолюция командующего ВВС: «Все истребители летают в районе цели. А. Таюрский».

Наверно, резолюция отвечала действительности. Другой вопрос, что это значило – «все истребители». Сколько их было в наличии и какие?

Я не разыскал цифр наличия авиации на Западном фронте к началу июля, но думаю, что об этом может дать известное представление более поздняя сводка ВВС Западного фронта – за 21 июля 1941 года. Судя по ней, на тридцатый день войны на всем Западном фронте у нас осталось (очевидно, с учетом поступивших за эти дни пополнений) всего семьдесят восемь истребителей. Причем только пятнадцать из них были современными: двенадцать МиГов и три ЛаГа. А все остальные были устарелые И-16, И-153 и И-15.

В этом и состояло главное объяснение многого происходившего тогда и в воздухе и на земле, в том числе и упомянутой в дневнике бобруйской трагедии.

Человеку, думающему об ее истоках, прежде всего, конечно, приходит в голову обратиться к первому утру войны, когда только на одном Западном фронте и только на земле было уничтожено пятьсот двадцать восемь наших самолетов, в том числе почти все современные истребители, которые в связи с переоборудованием ряда аэродромов были скучены

на нескольких площадках, расположенных впритык к границе и досконально разведанных немцами.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» стоят комментирующие этот факт строки: «Командующий ВВС Западного фронта генерал-майор авиации Копец, главный виновник гибели самолетов, по-видимому, желая избежать кары, получив еще неполные данные о потерях, в тот же вечер 22 июня застрелился. Остальные виновники получили по заслугам позднее».

То, что один из блестящих летчиков, герой испанской войны Копец, в тридцать два года ставший командующим авиацией крупнейшего округа, мог застрелиться, наверное, не столько из боязни кары, сколько под гнетом легшей на его плечи ответственности, психологически понятно.

Но думается все же, что по справедливости начало всей этой трагедии, происшедшей в первые дни войны с нашей авиацией, следовало бы отнести не к 22 июня 1941 года, а на несколько лет раньше, и главная ответственность за нее лежит все же не на капитанах и лейтенантах, в неправдоподобно короткий срок сделавшихся генералами... Я написал об этом в своей книге «Живые и мертвые», размышляя над судьбой одного из героев, генерала Козырева, и впоследствии включил этот эпизод в фильм того же названия.

Готовя дневник к печати, я вдруг получил письмо от работника Высшей партийной школы в Москве, полковника в отставке Андрея Ивановича Квасова. Это письмо подтвердило, что память не изменила мне, когда я писал в дневнике, что раненного в ногу летчика, которого мы вывезли на своей полutorке из-под Бобруйска в Могилев, «кажется, звали Ищенко». Его действительно звали Ищенко, только он был не старший лейтенант, а просто лейтенант, командир того сбитого над Бобруйском дальнего бомбардировщика, на котором впоследствии полковник, а тогда капитан Квасов летал штурманом.

Вот что написал мне Квасов в своем письме после того, как увидел фильм «Живые и мертвые», напомнивший ему через много лет о событиях 30 июня 1941 года под Бобруйском: «Наш 212-й отдельный дальний бомбардировочный авиационный полк, которым командовал тогда полковник, а ныне главный маршал авиации товарищ Голованов А.Е., получил боевой приказ: разрушить наведенные фашистами переправы через реку Березину, по которым они должны были переправлять свои наступающие танковые части с западного на восточный берег. 30 июня 1941 года в 17 часов 04 минуты мы на высоте 800 метров звеньями без прикрытия наших истребителей появились над переправами у г. Бобруйска и обрушили бомбовый груз на скопление фашистских танков у переправ. Небо было ясное. Я успел посмотреть на результаты своего бомбардирования. Отчетливо были видны сильные взрывы на самой переправе и в местах скопления вражеской техники. Наш самолет, пилотируемый лейтенантом Ищенко Николаем, был ведомым в звене командира эскадрильи лейтенанта Вдовина Виктора. Вдруг от взрывной волны наш самолет сильно бросило влево, в моей штурманской кабине повыскакивали все стекла, стрелок-радист, младший сержант Кузьмин, крикнул по самолетному переговорному устройству: «Самолет командира эскадрильи взорвался от прямого попадания зенитного снаряда».

Но и нам недолго пришлось продержаться в воздухе. Наш самолет был подожжен фашистским истребителем Me-109. Стрелок-радист был убит в воздухе. Левая и правая плоскости были в пламени. Меня сильно придавило к сиденью. С большим трудом я повернул голову вправо и назад. Самолет пикировал и был неуправляем. В кабине командира экипажа не было. Как потом оказалось, его выбросило. Все это происходило в какие-то доли секунды. Я потянул на себя ручку нижнего люка и провалился вниз, под самолет. Неподалеку от земли я повис на парашюте. Мимо меня проносились трассы фашистских истребителей. Правая пола кожаного пальто у меня была пробита в трех местах – они расстреливали в воздухе тех, кто чудом остался жив. Я упал с парашютом на болото около мелиоративной

канавы. Невдалеке от меня закричал мой командир Ищенко. Он лежал, был ранен. Место, где мы приземлились, простреливалось автоматными выстрелами. Я взял Ищенко на спину, и мы поползли с ним по мелиоративной канаве. Долго ползти мы не могли, у меня в левом боку было поломано ребро и шла изо рта кровь. Невдалеке от сарая, в который мы ползли, нас заметили два мальчика. Они принесли свернутый купол моего парашюта и помогли мне завернуть раненую ногу Ищенко. Ему было очень мучительно, так как в рану попали волосы от унтов».

После этого Андрей Иванович Квасов рассказал в своем письме о том, как мы с Котовым погрузили его и Ищенко в свою машину, повезли в Могилев и как по дороге туда собрали этих четырех или пятерых летчиков с других сбитых самолетов и тоже отвезли их в Могилев.

Заклячая письмо, Квасов вспомнил о том, как, доставив Ищенко в госпиталь, мы поужинали консервами и хлебом и заночевали у нас в редакции, и сообщал о дальнейшей судьбе своего командира Николая Ищенко. «Потом он попал на Урал, где восемь месяцев был на излечении, впоследствии продолжал воевать, был удостоен звания Героя Советского Союза и погиб на аэродроме в 1945 году, уже в мирное время».

Вскоре после получения этого письма я встретился с Андреем Ивановичем Квасовым, тем самым «капитаном с орденом Красного Знамени за финскую войну», о котором упоминается в моем дневнике.

Надо ли говорить, что мы оба были рады этой встрече долго сидели и вспоминали тот давно минувший тяжелый день под Бобруйском.

Как водится, при таких воспоминаниях не обошлось без расхождений в подробностях.

Квасову помнилось, что именно мы с младшим политруком Котовым встретили его и Ищенко там, куда они доползли. А я, взяв в руки свой продиктованный весной 1942 года, по еще горячим следам, дневник, пытался доказать ему, что оттуда, с места приземления, их вытащили не мы, а какие-то другие военные люди, а мы только перегрузили их позже на свою полуторку. В данном случае истина была на моей стороне. Но Квасов никак не соглашался, ему все это запомнилось по-другому.

Видимо, в том возбужденном состоянии, в котором он был тогда, сразу после гибели самолета, какие-то первые подробности собственного спасения выпали у него из памяти. Однако в других подробностях оказался неправ я. Поздней осенью 1945 года, когда меня направили в капитулировавшую Японию корреспондентом «Красной звезды» при штабе генерала Макартура, в поезде между Читой и Владивостоком я встретился с авиационным полковником, который остановил меня и спросил: не видались ли мы с ним под Бобруйском? Из дальнейшего разговора выяснилось, что полковник был одним из тех раненых летчиков, которых мы вывезли на своей полуторке в Могилев. И в моей памяти осталось, что этот встреченный мною в поезде полковник как раз и был Ищенко. Однако, как выяснилось из разговора с Квасовым, Герой Советского Союза Ищенко к тому времени уже погиб и, значит, мой собеседник в поезде был не Ищенко, а другой летчик, тоже вывезенный нами из-под Бобруйска. Лишний пример того, как нуждается в проверке наша память.

Остается добавить несколько данных, почерпнутых мною из архивных документов 212-го отдельного дальнего бомбардировочного авиационного полка уже после встречи с А.И. Квасовым. В тот драматический день, 30 июня 1941 года, самоотверженно выполняя приказ командования и нанося удар за ударом по немецким переправам у Бобруйска, полк, летавший в бой во главе со своим командиром Головановым, потерял одиннадцать машин. По документам полка, среди не вернувшихся с задания сначала числился весь экипаж самолета № 654, командир – лейтенант Ищенко Н.А., штурман – капитан Квасов А.И., стрелок-радист – младший сержант Кузьмин Е.С. и стрелок-бомбардир лейтенант Фейгейльштейн А.М. Потом Квасов был помечен в документах как возвратившийся в полк, Ищенко – как находящийся на излечении в госпитале, а остальные два члена экипажа – как погибшие.

Есть в делах полка и еще один документ – о представлении Ищенко и Квасова за проявленное 30.VI. 1941 мужество к орденам боевого Красного Знамени.

Глава третья

В Могилеве стало тревожно. Сообщали, что около ста немецких танков с пехотой, провалявшись у Бобруйска, форсировало Березину. Через город весь вечер и ночь проходили эвакуировавшиеся тыловые части. Из дома типографии, стоявшего над крутым берегом Днепра, было слышно, как повозки и грузовики грохочут по деревянному мосту.

Я приехал из типографии в лесок, где стояла редакция, и там узнал, что мы вместе со штабом фронта должны переезжать куда-то под Смоленск.

Здесь же, в леске, собрались только что приехавшие из Москвы Сурков, Кригер, Трошкин, Склезнев, Белявский и, кажется, Федор Левин.

К середине дня редакция погрузилась на машины и мы целой колонной двинулись на Смоленск. Большую часть пути ехали проселками. По дороге узнали, что накануне был убит один из наших редакционных водителей и смертельно ранен заместитель редактора батальонный комиссар Лихачев. Было это под Могилевом, ночью. Их остановили на дороге и, пока Лихачев давал документы для проверки, разрядили в них в упор маузер. Водитель был убит наповал, Лихачев – смертельно ранен. Как это произошло, он рассказал уже в госпитале.

Оказывается, были не только слухи о диверсантах, но и сами диверсанты, и держать наизготовку наган при проверке документов было не так уж смешно.

Но все равно грустное часто сочетается со смешным. Так вышло и здесь. После того как узнали о нашем редакционном несчастье, вскоре наша полуторка отстала на несколько километров от колонны, и вдруг перед нами на дорогу выскочил какой-то старик. При проверке документов оказалось, что это секретарь парторганизации здешнего колхоза. Остановив нас, он стал уверять, что впереди на дороге высадилась немецкая диверсионная группа и что она сейчас обстреляла его.

Мы вылезли из машины, разобрали винтовки, и машина тихо двинулась по дороге, а мы пошли цепочкой слева и справа. Было нас на машине человек шесть, не помню кто, помню только Шустера, шумного, смешливого человека, потом пропавшего без вести во время вяземского окружения. Немцев мы не встретили, но километра через три на дороге обнаружили стоявший грузовик. Оказывается, у него одна за другой почти разом лопнули две покрышки – они и были теми немецкими диверсантами, которые обстреляли бдительного старика. Посмеявшись, мы залезли в свою полуторку и поехали дальше.

Было очень грустно на душе. Мы проезжали проселками через места, где еще почти не ходили военные машины, через самые мирные деревеньки и городишки. Мы ехали на северо-восток, в тыл. И надо было видеть, с какой тревогой провожали глазами наши машины люди, выходившие из домов. Особенно встревоженно вели себя жители Шклова. Городок был маленький и грязноватый, но оттого, что светило солнце, он казался все-таки веселым. Мы проезжали через город, а у дверей стояли испуганные еврейские женщины и глазами спрашивали нас: трогаться им с места или нет?

У одного из домов мы остановились, чтобы попить воды, и тут нам сказали вслух сказанное до этого только глазами. Спрашивали: «Где немцы? Придут ли они сюда? Может быть, пора уходить, скажите нам правду». И мы им сказали то, что в тот день считали правдой: что немцы далеко и что их сюда не пустят. Не могли же мы знать, что именно около этого самого Шклова всего через несколько дней немцы прорвут нашу линию обороны, шедшую от Орши на Могилев.

Через Смоленск мы проезжали уже поздно вечером. Ходили слухи, что от Смоленска после немецких бомбардировок не осталось камня на камне. В действительности было не так. В тот вечер я почти не увидел в Смоленске разбитых бомбами зданий. Но несколько

центральных кварталов было выжжено почти целиком. И вообще город был на четверть сожжен. Очевидно, немцы бомбили здесь главным образом зажигалками.

Это был первый город, который я видел еще дымящимся. Здесь я в первый раз услышал запах гари, горелого железа и дерева, к которому потом пришлось привыкнуть.

В небе высоко гудели самолеты. Мы спускались к железной дороге, когда увидели, что на другой окраине Смоленска взлетают ракеты. Значит, диверсанты были и здесь.

Мы проехали еще километров пятнадцать за Смоленск, свернув с дороги, приехали в сырой низкорослый лесок и, разостлав на траве плащ-палатки, немедленно заснули.

На следующий день я прочел в политотделе записанную на слух радистами речь Сталина. Отчетливо помню свои ощущения в те минуты. Первое – этой речью, в которой говорилось о развертывании партизанского движения на занятой территории и об организации ополчения, клался предел тому колоссальному разрыву, который существовал между официальными сообщениями газет и действительной величиной территории, уже захваченной немцами.

Это было тяжело читать, но нам, которые это знали и так, все-таки было легче оттого, что это было сказано вслух.

Второе чувство – мы поняли, что бродившие у нас в головах соображения о том, что разбиты только наши части прикрытия, что где-то готовился могучий удар, что немцев откуда-то ударят и погонят на запад не сегодня, так завтра, что все эти слухи о том, что Южный фронт тем временем наступает, что уже взят Краков и так далее, мы поняли, что все это не более чем плоды фантазии, рожденной несоответствием того начала войны, к которому мы годами готовились, с тем, как оно вышло в действительности.

Это тоже было тягостно. И все-таки в этом была какая-то определенность. Становилось ясно, что придется воевать с немцами тем, что есть под руками, не обольщаясь никакими химерами и надеждами на воображаемые успехи Южного или Северо-Западного фронтов. Всюду было так же, как у нас, здесь немного хуже или немного лучше. Оставалось надеяться только на собственные силы.

Но над этими чувствами было еще одно – самое главное. Вспоминались время перед войной и речь Шверника о введении восьмичасового рабочего дня. В ней не говорилось, что восьмичасовой рабочий день введен по просьбе трудящихся, которым надоело работать семь часов; говорилось, что на носу война и есть тяжелая государственная необходимость перейти на восьмичасовой рабочий день. То есть говорилась полная правда, без всякого закрывания глаз на нее. Мне всегда казалось, что именно так и нужно разговаривать, что так все мы лучше понимаем.

Когда я прочел речь Сталина 3 июля, я почувствовал, что это речь, не скрывающая ничего, не прячущая ничего, говорящая народу правду до конца, и говорящая ее так, как только и можно было говорить в таких обстоятельствах. Это радовало. Казалось, что в таких тягостных обстоятельствах сказать такую жестокую правду – значит засвидетельствовать свою силу.

И еще одно ощущение. Понравилось, очень дошло до сердца обращение: «Друзья мои!» Так у нас давно не говорилось в речах.

Мы сидели в лесу. Над головой изредка гудели самолеты. Конечно, мы не знали, как все дальше повернется. И я не знал, что в апреле сорок второго буду сидеть в Москве и диктовать свой дневник. Но тогда, после этой речи, были мысли, что пойдешь и будешь драться, и умрешь, если нужно, и будешь отходить до Белого моря или до Урала, но, пока жив, не сдашься. Такое было тогда чувство...

Сейчас, спустя тридцать с лишним лет, Алексей Сурков и другие мои товарищи по фронту, когда я показал им эти страницы дневника, разошлись в воспоминаниях: где мы с ними тогда встретились – не то в лесу под Могилевом, не то уже под Смоленском.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» указано, что оба эшелона штаба фронта убыли в район Смоленска, в санаторий Гнездово, 2 июля. Сопоставляя факты, думаю, что я в числе других работников «Красноармейской правды», очевидно, выехал из Могилева 2 или 3 июля и речь Сталина в записи радистов политуправления фронта прочел уже в лесу под Смоленском.

Перечитывая сейчас то место в дневнике, где говорится о речи Сталина, я не испытываю желания спорить с самим собой. Мне и сейчас кажется, что мое тогдашнее восприятие этой речи, в общем, соответствовало ее действительному значению в тот трудный исторический момент.

В последние годы мне приходилось и слышать и читать в литературе и журналистике разные объяснения того факта, что Сталин выступил с речью лишь на двенадцатый день войны, в первый день возложив это на Молотова. Среди этих объяснений приводилось и такое, что Сталин в первые дни войны совершенно растерялся, отошел от дел и не принимал участия в руководстве войной.

Не берусь судить о фактах, которых не знаю, но психологически такое объяснение не вызывает у меня чувства доверия. Думается, что в применении к Сталину верней было бы говорить об огромности испытанного им потрясения. Это потрясение испытали все. Но огромность потрясения, испытанного им, усугублялась тем, что на его плечах лежала наибольшая доля ответственности за все случившееся. В том, что он сознавал это, у меня нет сомнений, но представить себе Сталина в первую неделю войны совершенно растерявшимся и выпустившим из рук управление страной я просто-напросто не могу.

И то, что он свою речь произнес лишь на двенадцатый день войны, я объясняю не тем, что он до этого не мог собраться с духом, чтобы произнести ее, а совершенно другим. Сознывая всю силу своего, несмотря ни на что, и в эти дни сохранившегося авторитета, Сталин не желал рисковать им. Он не желал сам выступать по радио, обращаясь ко всей стране и к миру, раньше, чем полная страшных ежемесячных неожиданностей обстановка не прояснится хотя бы в такой мере, чтобы, оценив ее и определив перспективы на будущее, но оказаться вынужденным потом брать свои слова обратно.

Присутствовал ли в этом личный момент? Очевидно, присутствовал. Но убежден, что главным была государственная целесообразность этого решения.

Чтобы в какой-то мере восстановить ту обстановку, в которой мы слышали или прочли речь Сталина, приведу несколько выдержек из разных армейских документов тех дней.

В политдонесении отступившей от Бреста 4-й армии Западного фронта, датированном 4 июля, говорится, что части армии «вышли в новые районы формирования для пополнения личным составом и материальной частью. 6-я стрелковая дивизия. Налицо... 910 человек, некомплект – 12 781 человек. 55-я стрелковая дивизия. Налицо 2623 человека, некомплект – 11 068 человек». Даже если учесть, что потом в районе формирования армии вышли из окружения еще тысячи и тысячи людей, все же эти цифры на 4 июля говорят о тяжести положения.

Предыдущим числом, 3 июля, датирована найденная мной в архиве записка командира 75-й стрелковой дивизии этой же армии генерал-майора С.И. Недвигина командующему армией генералу А.А. Коробкову. В воспоминаниях бывшего начальника штаба 4-й армии генерала А.М. Сандалова несколько раз с похвалой говорится о действиях этой упорно сражавшейся в ходе отступления дивизии. Из документов видно, что к первым числам июля она сохранила в своем составе около четырех тысяч бойцов и командиров. Записка Недвигина дает представление о душевном состоянии, в котором был на двенадцатый день войны командир одной из дивизий, отступавших с боями от самой границы.

«Товарищ генерал-майор, наконец имею возможность черкнуть пару слов о делах прошедших и настоящих. Красный пакет опоздал, а отсюда и

вся трагедия! Части попали под удары разрозненными группами. Лично с 22-го по 27-е вел бой с преобладающим по силе противником. Отсутствие горючего и боеприпасов вынудило оставить все в болотах и привести для противника в негодность.

Сейчас с горсточкой людей занял и обороняю город Пинск, пока без нажима противника. Что получится из этого, сказать трудно.

Сегодня получил приказание о подчинении меня 21-й армии. Пока никого не видел и не говорил, но жду представителей.

Настроение бодрое и веселое. Сейчас занимаюсь приведением в порядок некоторых из частей. За эти бои в штабе осталось 50–60 процентов работников, а остальные перебиты.

Желаю полного успеха в работе. Вашего представителя информировал подробно.

С комприветом
генерал-майор *Недвигин*.

Несомненно, что в этой носящей отчасти официальный, отчасти личный характер записке сквозит глубокая горечь. Но, с другой стороны, читая эту записку, нельзя не согласиться и с Гудерианом, писавшим в своей работе «Опыт войны с Россией» о русских генералах и солдатах, что «они не теряли присутствия духа даже в труднейшей обстановке 1941 года».

В сообщении Информбюро, в котором рассказывалось о первой реакции на речь Сталина, одновременно подчеркивалась сила нашего сопротивления немцам: «Повсюду противник встречается с упорным сопротивлением наших войск, губительным огнем артиллерии и сокрушительными ударами советской авиации. На поле боя остаются тысячи немецких трупов, пылающие танки и сбитые самолеты противника».

Слово «повсюду» не отражало всей сложности положения. Немцы встречали упорное сопротивление наших войск, но не повсюду.

Однако не следует забывать и другого. Из немецких документов о людских потерях вермахта во Второй мировой войне явствует, что за первые шестьдесят дней войны на Восточном фронте немецкая армия лишилась стольких солдат, сколько она потеряла за предыдущие шестьсот шестьдесят дней на всех фронтах, то есть за время захвата Польши, Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии, Дании, Югославии, Греции, включая бои за Дюнкерк и в Северной Африке. Соотношение потерь разительное – один к одиннадцати.

Говоря об этом, я не забываю о тяжести наших собственных потерь; просто хочу напомнить, что, хотя начальник германского генерального штаба генерал Гальдер поспешил записать 3 июля 1941 года: «Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна», – эта кампания все-таки началась с потерь, которых фашистские армии еще никогда не несли до этого в продолжавшейся уже почти два года Второй мировой войне.

Гальдер считал в этот день, что кампания выиграна.

Сталин, как свидетельствует его речь, в этот же день, 3 июля, считал, что борьба не на жизнь, а на смерть только начинается.

* * *

Возвращаюсь к дневнику.

...На следующий день началось устройство лагеря редакции. Устанавливали палатки, и Алеша Сурков впервые показал всем нам свои незаурядные хозяйственные способности

старого солдата. С едой по-прежнему было скверно и бестолково. Вроде даже и было что есть, а ели все-таки кое-как.

По заданию редакции я поехал через Смоленск в стоящую за ним где-то на окружавших его лесистых холмах танковую дивизию. Ехали мимо станционных путей и пакгаузов, видели, как выгружалось много пушек; тащили вверх, на холмы, тяжелую артиллерию.

Когда приехали, увидели танк БТ-7, который с трудом карабкался в гору, и по этому танку поняли, что отыскиали место пребывания танковой дивизии. На Халхин-Голе я привык к тому, что танковая бригада или батальон – это прежде всего танки. Но здесь пришлось отвыкать от этого представления. В дивизии были только люди, а танков не было. Тот танк, который полз наверх, оказывается, был единственным в дивизии. Все остальные погибли в боях или взорваны после израсходования горючего. А этот пришел своим ходом сюда кажется, от самого Бреста, – единственный.

Я много говорил в дивизии с людьми; из этих рассказов понял, что дрались они хорошо, больше того – отчаянно, но материальная часть, которую вот-вот должны были сменить на современную, была истрепана во время весенних учений. К первому дню войны половина танков была в ремонте, а оставшиеся в строю были в не готовом к войне состоянии.

Не знаю, как было вообще, но в этой дивизии обстояло именно так. Оказавшись в таком положении, люди все-таки приняли бой с немцами. Сначала один, потом другой, третий. И так ежедневно десять суток, пока у них не осталось больше машин. Тогда они пешком добрались до Смоленска. Судя по рассказам людей, несмотря на превосходство немцев и в количестве и в качестве машин – в дивизии были только БТ-7 и БТ-5, – мы все-таки заставили немцев понести тяжелые потери. В дивизии не чувствовалось подавленного настроения, а была отчаянная злость на то, что все так нелепо вышло, и желание получить немедленно новую материальную часть, переформироваться и отомстить.

Один из танкистов, майор, рассказал мне, как во время выхода из окружения его и нескольких бойцов нагнал на ржаном поле «мессершмитт». Расстреляв по ним все патроны, немец стал пытаться раздавить их колесами. Майор залег в канаву на поле. Три раза «мессершмитт» проходил над ним, стараясь задеть их выпущенными колесами. Один раз это ему удалось.

Майор, задрав гимнастерку, показал мне широкую, в ладонь, синюю полосу через всю спину.

Мы вернулись в лагерь редакции, и я весь вечер сидел и думал: как же мне писать? Хотелось на что-то опереться, на каких-то людей, которые среди всех этих неудач своими подвигами вселяли надежду на то, что все повернется к лучшему.

Именно с таким чувством на рассвете следующего дня я написал для «Известий» свой первый в жизни очерк о танкистах...

Упомянутая мною в дневнике танковая дивизия, как мне теперь ясно из документов, была 30-я танковая. Ею с первых дней войны командовал полковник С. И. Богданов. Впоследствии под командованием именно этого человека – маршала бронетанковых войск Богданова – 2-я танковая армия Первого Белорусского фронта 22 апреля 1945 года, обойдя Берлин, первой ворвалась на его северо-западную окраину.

А тогда, в начале июля 1941 года, в дивизии, которой командовал полковник Богданов, было в наличии 1090 человек, из них 300 танкистов; 90 грузовиков, 3 трактора и 2 танка Т-26, один из них, как указано в документах, «неисправный». Я неверно указал в своем дневнике: единственный в дивизии исправный танк был не БТ-7, а Т-26.

Я пишу в дневнике со слов танкистов, что к первому дню войны половина их танков была в ремонте.

Я не нашел в архивах цифр именно по этой танковой дивизии, но встретил данные о состоянии некоторых других механизированных соединений.

В докладе генерал-майора Мостовенко, командира 11-го механизированного корпуса, также воевавшего на Западном фронте, рассказывается, что к 22 июня в корпусе было 3 КВ и 24 «тридцатьчетверки», то есть 27 средних и тяжелых танков, и 300 легких танков Т-26 и БТ. Легкие танки для укомплектования корпуса были получены с уже сильно изношенными моторами и ходовой частью. Около пятнадцати процентов танков к первому дню войны было вообще неисправно. Когда корпусу на второй день войны была поставлена наступательная задача, то половина его личного состава не была взята в поход, так как не была обеспечена материальной частью и вооружением.

По плану корпус должна была прикрыть 11-я смешанная авиационная дивизия, но, когда в дивизию был послан делегат связи, оказалось, что все самолеты уничтожены противником на аэродромах.

Тем не менее, как свидетельствуют военные историки, 11-й мехкорпус, только наполовину укомплектованный и вооруженный почти исключительно легкими танками, принял участие в активных действиях наших войск в районе Гродно, где главный контрудар наносил вооруженный «тридцатьчетверками» 6-й мехкорпус генерала Хацкилевича. Действия этих корпусов и некоторых других наших частей в первые дни войны в районе Гродно приковали к этому району шесть немецких дивизий и крупные силы авиации и существенно нарушили планы немцев.

Я упоминаю в дневнике, что в танковой дивизии, где я был, не чувствовалось подавленного настроения, но были отчаянная злость и желание получить новую материальную часть и отомстить.

«Журнал боевых действий 11-го механизированного корпуса» подтверждает, что и там после таких же тяжелых боев было такое же настроение. В своем докладе генерал Мостовенко писал: «Мне известно, что вышедшие из окружения бойцы и командиры корпуса оставлены в частях 21-й армии. Полагаю, что такое же положение имеет место и в других армиях. Считаю, что нам придется не только задерживать наступление фашистов, но и наступать и добивать их на их территории. Поэтому кадры танкистов необходимо не распылять, а изъять из стрелковых частей и приступить к формированию танковых частей... Есть опасение скоропалительных выводов о громоздкости и нецелесообразности иметь такие соединения, как механизированные корпуса. Я считаю эти выводы неверными, преждевременными. Опыт войны этого не показал. Противник против нас применяет свои танковые корпуса и танковые группы в своих обычных оперативных формах, применявшихся в Польше, Франции, и применяет их не без успеха. Почему же нам, готовящимся к разгрому противника, его преследованию и уничтожению... следует отказаться от крупных подвижных соединений?..»

Так люди, потерпевшие первые тяжелые поражения, все-таки находили в себе силу верить, что придет время и наши механизированные корпуса еще вторгнутся на территорию врага. История показала, что они не ошибались в своей вере в будущее.

* * *

...Написав очерк, я оставил его ребятам, чтобы передать в «Известия», а сам в то же утро поехал вместе с Сурковым, Трошкиным и Кургановым по направлению к Борисову. По слухам, где-то там, под Борисовом, дралась Пролетарская дивизия.

Выехали на стареньком «пикапчике» «Известий». Его вел шофер Павел Иванович Боровков – мужчина лет тридцати пяти, веселый, хитроватый и до невозможности говорливый. В течение часа он укладывал в лежку всякого, кто садился с ним в кабину, заговаривал до смерти. Когда к нему пересаживался следующий, он заговаривал и следующего. Кроме того, у него была своя точка зрения на опасность. А именно – он считал, что опасно ехать

только с востока на запад, а с запада на восток можно ехать совершенно безопасно. Поэтому когда он ехал вперед, то опасался самолетов и двигался со скоростью двадцать километров, приоткрыв дверцу, в ежеминутной готовности выскочить. Но зато когда ехал обратно, почему-то считая, что машину, идущую с запада на восток, бомбить не станут, выжимал из своего «пикапа» чуть ли не восемьдесят километров.

Мы сначала двигались по проселку, а потом, за Смоленском, выехали на Минское шоссе. Само полотно шоссе было по-прежнему сравнительно мало разрушено немецкой бомбежкой. Немцы, несомненно, берегли шоссе как путь своего будущего продвижения. И эта их самоуверенность удручала.

Мы без особых происшествий доехали до развилки, где одна из дорог поворачивает на Оршу и дальше идет на Шклов—Могилев. По этой рокадной дороге шло бешеное движение. Двигались целые колонны грузовиков и очень много легких танков. Мы переехали дорогу и попали на опушку леса. Там стояло несколько штабных танкеток и размещался штаб 73-й дивизии.

Это была еще не принимавшая участия в боях, необстрелянная, но полностью укомплектованная и хорошо вооруженная кадровая дивизия.

Я вспомнил, что именно тут, когда ехал из-под Борисова, впервые увидел наши стоявшие на позициях войска. И, спросив, с какого числа стоит здесь дивизия, услышал, что с двадцать седьмого. Значит, ее я и видел.

Пока мы сюда добрались, была уже середина дня. Трошкин пошел фотографировать оборонительные работы. Перед лесом, на открытом месте, тысячи крестьян рыли огромный противотанковый ров. Вернувшись оттуда, Трошкин стал снимать бойцов в лесу за чтением газет, которые мы привезли из редакции. Я впервые с удивлением видел, как работает фотокорреспондент. До сих пор я наивно представлял себе, что фотокорреспондент просто-напросто ловит разные моменты жизни и снимает. Но Трошкин по десять раз пересаживал бойцов так и эдак, переодевал каски с одного на другого и заставлял их брать в руки винтовки. В общем, мучил их целых полчаса. Меня поразили и удивительная любовь людей сниматься, и такое же удивительное их терпение. Тогда я к этому еще не привык.

Здесь же, в лесу, стояла и дивизионная газета. Среди сотрудников редакции оказался мальчик, хорошо знавший стихи и, должно быть, сам писавший их. Мы разговорились с ним о стихах и о том, кто из поэтов где сейчас оказался и что пишет. Весь этот разговор был каким-то странным, ни к чему.

Довольно долго провозившись со съемками, стали выяснять, что стоит там, впереди, ближе к Борисову, и где, в частности, находится Пролетарская дивизия. Нам ответили, что дивизия входит в состав другой армии, а где эта армия, здесь никто не знает. Знают только, что впереди. А дивизия, в которой находимся сейчас мы, входит в состав армии, стоящей вдоль дороги, влево и вправо от Минского шоссе, и должна здесь ждать немцев и встречать их прорвавшиеся части.

В дивизии говорили, что высшим командованием решено дать здесь немцам новое Бородинское сражение и остановить их здесь. Не знаю, говорило ли так высшее командование или самим людям хотелось так говорить, чтобы успокоить себя, но, во всяком случае, как мы в течение этого дня убедились, здесь было много техники, все, что положено, кроме тяжелых и средних танков. Было много противотанковой артиллерии, пушки торчали за каждым пригорком и кустиком. Были отрыты окопы полного профиля, подготовлены противотанковые рвы. Мосты впереди были минированы, дороги тоже. Здесь немцы действительно должны были наткнуться на ожесточенное сопротивление.

Очевидно, именно поэтому они потом, в десятых числах июля, и не пошли сюда, а, прорвавшись южнее, у Шклова, обошли эту линию обороны. И частям, находившимся здесь, пришлось выходить из окружения.

Перед заходом солнца штаб той дивизии, где мы остановились, стал перебираться в другое место, неподалеку. Вместе с ним двинулись и мы. Сначала проехали километра три по шоссе по направлению к Борисову, потом свернули в лес налево и выбрались на маленькую лесную полянку.

Когда ехали к лесу, к его опушке, справа была видна незабываемая картина. Низкие холмы, облитые красным светом заката, темно-зеленые купы деревьев около маленькой деревни. По гребню холма мальчишки гнали лошадей. Над крышами курил тонкий дым. Мирная картина срединной русской природы. Даже трудно представить себе, до какой степени все это было далеко от войны.

В лесу, куда перебрался на новое место штаб дивизии, было темно и сыро. Лес был густой и старый. Что-то пожевав наспех, мы наломали еловых веток, накрыли их плащ-палатками и легли рядом со своим «пикапом», решив заночевать в дивизии, а дальше к Борисову ехать утром. Хотя там, впереди, обстановка была неясна, но не хотелось возвращаться назад и искать штаб армии, в котором, впрочем, нам тоже могли не сказать всего того, что нам было нужно.

Утром проснулись рано и сейчас же выехали на шоссе. Сначала справа и слева по шоссе были видны артиллерийские позиции, потом мы увидели артиллеристов, очевидно занимавшихся разметкой будущих площадей обстрела. Они ходили со своим артиллерийским инструментом и были очень похожи на каких-нибудь студентов-геодезистов. Дальше было пусто. Кое-где возле шоссе воронки, следы крови. Но трупов не было, их уже убрали.

Проехали шестьдесят, шестьдесят пять, семьдесят километров. В одном месте, налево от шоссе, около церковки, увидели три тяжелых орудия, стоявших не на позициях, а прямо у церковной ограды вместе со своими тягачами. Остановили машину. Я пошел туда, чтобы хоть что-нибудь узнать, но артиллеристы знали не больше нас. Им приказали стоять здесь, и они стояли. Они сказали нам, что впереди только что была сильная бомбежка. Вдребезги разбита зенитная батарея.

В самом деле, когда мы проехали еще немножко вперед, увидели эту разбитую батарею. У одной из пушек длинный хобот ее был разодран так, что трудно было представить, как это могло случиться с железом.

Проехали еще километров десять. Вдруг в редком лесу налево увидели каких-то военных. Съехали с дороги и свернули в лес, из которого нам стали отчаянно кричать, чтобы мы поскорей замаскировали машину.

В лесу был хаос. Деревья кругом вывернуты или сломаны. Весь лес в воронках после только что кончившейся чудовищной бомбежки. Наконец нашли какого-то капитана. Он сказал, что там, впереди, отступают, а у него во время бомбежки погибло много людей, что они сами только что сюда отступили и попали под бомбежку, что они не знают, где командир полка. Мы спросили его, есть ли впереди какие-нибудь части, хотя бы отступающие. Он сказал, что да, впереди есть части Пролетарской дивизии.

Мы снова выехали на шоссе. Сурков благоразумно советовал не ехать дальше, не выяснив, что происходит там, впереди. Я и Трошкин спорили с ним. Не потому, что мы были такие храбрые; очень уж тошно было возвращаться назад без всякого материала.

Кроме того, мы с Трошкиным еще питали тогда наивное представление, что раз мы едем вперед, значит, видимо, впереди наши дивизии, потом штаб полка, а потом уже передовые позиции. Нам казалось, что все это представляет собой несколько линий – первую, вторую, третью, – которые нам нужно все проехать, прежде чем мы столкнемся с немцами.

Сурков в ответ на наши возражения промолчал, а мы с Трошкиным вслед за этим, смеясь, стали говорить про Боровкова, который едет на запад со скоростью двадцать километров, а на восток – со скоростью восемьдесят. Как потом оказалось, Сурков, не расслышав

сначала нашего разговора, принял эту шутку на свой счет и закусил удила – решил назло нам не останавливаться, пока мы сами не запросим.

Поехали дальше. В воздухе крутились немецкие самолеты. Пришлось несколько раз выскакивать из нашего «пикапа» и бросаться на землю. При одном из приземлений я расцарапал себе все лицо. Злые, ничего не понимающие, мы наконец добрались до моста через какую-то реку. Кажется, это была река Бобр.

На мосту к каждому его устою были уже привязаны здоровенные ящики со взрывчаткой. Около них наготове стояли саперы. А поодаль, в стороне, саперные командиры пробовали, очевидно, проверяя по времени, как горит запальный шнур.

Мы на минуту остановились. Я и Трошкин предложили: не выяснить ли все-таки, что происходит, прежде чем ехать дальше. Но теперь уж Сурков сказал, что надо ехать дальше: поедem посмотрим сами. Что касается Курганова, то он относился к нашим спорам довольно пассивно. Его больше всего интересовала встреча с кем-нибудь, кто бы хоть что-нибудь знал и мог дать ему беседу для «Правды».

Мы проскочили через мост. Кажется, саперы что-то хотели сказать нам, но не сказали или не успели. Переехав мост, мы сделали еще три-четыре километра. Где-то впереди и слева и справа была слышна артиллерийская стрельба. Вдруг справа от дороги что-то блеснуло на солнце. Мы остановились и увидели шагах в двадцати от дороги мотоцикл с коляской, а рядом с мотоциклом с картой в руках высокого комдива. Золотые галуны на рукаве у него горели на солнце. Их блеск мы и заметили. Рядом с комдивом стоял полковник.

Мы выскочили из машины и подошли к ним. Сурков, как старший, представился, сказал, что мы являемся представителями центральных газет «Известий» и «Правды» – и хотели бы поговорить. Комдив как-то странно посмотрел на нас, сказал: «Здравствуйте, дорогие товарищи, – крепко пожал нам всем руки, а потом после паузы добавил: – Убирайтесь-ка отсюда поскорей к...» Курганов, не смутившись и профессионально вынув записную книжку, спросил:

– А может быть, вы все-таки сможете посвятить нам пять минут для беседы?

– Что? – переспросил комдив. – Я же вам сказал: поезжайте, ради бога, отсюда! Уедете отсюда километров за двадцать назад, там штаб у меня будет. Вот там завтра и поговорим. Мост переезжали?

– Да.

– Так вот, поскорее обратно его переезжайте.

Мы сели в машину, повернули, проскочили через мост под удивленными взглядами тех же саперов и остановились километрах в трех за мостом, у колодца.

Когда мы сворачивали на дорогу, простившись с комдивом, то видели, что он тоже садится в свой мотоцикл с коляской.

Тогда мы так ничего толком и не поняли, кроме того, что вляпались куда-то. Все выяснилось впоследствии. Пролетарская дивизия после ожесточенного боя отступила и, оторвавшись от немцев, отошла за реку Бобр, по которой должна была идти ее новая линия обороны. Мост, через который мы проезжали, находился уже перед передним краем. Его должны были взорвать тотчас, как только вернется начальство, поехавшее вперед на рекогносцировку, проверить в последний раз сектора обстрела артиллерии. За этим занятием мы и застали торопившегося комдива.

Вопреки нашим корреспондентским представлениям о стратегии и тактике дивизия отступала не по дороге, а слева и справа от нее по лесам. Там же наступали немцы, может быть, не предполагая, что дорога свободна и на том отрезке ее, который мы проехали, никого нет. Налево и направо к тому времени, когда нас завернул комдив, немцы были уже сзади нас, подходили к реке.

Все это мы выяснили потом. А тогда, добравшись до колодца, только безотчетно почувствовали, что выбрались из какой-то беды, и, спустив на веревке в колодец котелок, стали пить воду. Вода была родниковая, холодная, и мы пили ее жадно досыта...

Сопоставляя время нашей описанной в дневнике поездки в сторону Борисова с донесением о боях на этом направлении, я почти убежден, что мы оказались в этом районе 6 июля.

Сурков был впоследствии твердо уверен, что мы встретили там, у реки Бобр, А.Г. Петровского, который находился в начале войны в старом звании комкора, потому что незадолго перед этим вернулся из заключения и уехал воевать, еще не успев получить нового звания. Я и сам привык к этой мысли о нашей встрече с Петровским. Но, заново перечитав дневник, усомнился. Во-первых, там стоит все-таки не «комкор», а «комдив», а во-вторых, 63-й корпус Петровского действовал тогда гораздо южнее, в районе Рогачева и Жлобина.

Как мне теперь ясно из архивных материалов, 6 июля там, на Минском шоссе, у реки Бобр, мы могли встретить только одного человека в звании комдива – командира 44-го стрелкового корпуса В.А. Юшкевича, в прошлом одного из наших советских добровольцев в Испании. Так же, как и Петровский, и по тем же причинам он не успел получить генеральского звания и уехал на фронт комдивом. В этом старом звании мы его и встретили на Минском шоссе. Через месяц, в августе, он получил звание генерал-майора, а еще через четыре месяца армия, которой он к тому времени командовал, освобождала один из первых отобранных нами у немцев городов – Калинин. Об этом можно прочесть в сообщении Информбюро за 16 декабря 1941 года.

Генерал армии Я.Г. Крейзер, который в 1941 году в звании полковника командовал входившей в те дни в подчинение Юшкевича 1-й мотострелковой (до мая 1940 года она называлась московской Пролетарской) дивизией, вынесшей на себе главную тяжесть боев на Борисовском направлении, писал впоследствии в воспоминаниях, что 6 июля его дивизия занимала оборону на реке Бобр.

Не берусь утверждать, что полковник, которого мы встретили тогда, 6 июля, за переправой вместе с Юшкевичем, был именно Я.Г. Крейзер, но могло быть и так.

...Напившись у колодца воды, мы двинулись к Смоленску. По дороге, устав и окончательно пропылившись, заехали в какую-то деревеньку возле дороги и заглянули в избу. Изба была оклеена старыми газетами; на стенах висели какие-то рамочки, цветные вырезки из журналов. В правом углу была божница, на широкой лавке сидел старик, одетый во все белое – в белую рубаху и белые порты, – с седой бородой и кирпичной морщинистой шеей.

Бабка, маленькая старушка с быстрыми движениями, усадила нас рядом со стариком на лавку и стала пить молоком. Сначала вытатила одну крынку, потом другую.

Зашла соседка. Бабка спросила:

– А Дунька все голосит?

– Голосит, – сказала соседка.

– У ней парня убили, – объяснила нам старуха.

Потом вдруг открылась дверь в сени, и мы услышали, как близко, должно быть в соседнем дворе, пронзительно кричит женщина. Бабка, сев рядом с нами на лавку, спокойно следила, как мы жадно пьем молоко.

– Все у нас на войне, – сказала она. – Все сыны на войне, и внуки на войне. А сюда скоро немец придет, а?

– Не знаем, – сказали мы, хотя чувствовали, что скоро.

– Должно, скоро, – сказала бабка. – Уж стада все прогнали. Молочко последнее пьем. Корову-то с колхозным стадом только отдали, пусть гонят. Даст бог, когда и обратно пригонят. Народу мало в деревне. Все уходят.

– А вы? – спросил один из нас.

– А мы куда ж пойдем? Мы тут будем. И немцы придут, тут будем, и наши вспять придут, тут будем. Дождемся со стариком, коли живы будем.

Она говорила, а старик сидел и молчал. И мне казалось, что ему было все равно. Все равно. Что он очень стар и если бы он мог, то он умер бы вот сейчас, глядя на нас, людей, одетых в красноармейскую форму, и не дожидаясь, пока в его избу придут немцы. А что они придут сюда, мне по его лицу казалось, что он уверен. Он так молча сидел на лавке и все качал своей столетней седой головой, как будто твердил: «Да, да, придут, придут». Было нам тогда очень плохо в этой хате, хотелось плакать, потому что ничего не могли мы сказать этим старикам, ровно ничего утешительного.

Дальше, на обратном пути, не было ничего примечательного.

Трясаясь в «пикапе», я по дороге в Смоленск писал стихи о том, чтобы ничего не оставлять немцам, все жечь, чтобы сама сожженная, изуродованная природа повернулась против них. Стихи были, кажется, ничего, лучше обычных газетных. Но именно из-за этих сильных выражений они так и не попали в «Красноармейскую правду»...

* * *

Я перечел теперь, спустя много лет, эти стихи, записанные чудовищным, прыгающим почерком на ходу в машине в сохранившемся у меня фронтовом блокноте. То, что я смог разобрать, не подтверждает моего тогдашнего мнения, что стихи, «кажется, ничего, лучше обычных газетных». На самом деле стихи были плохие. Душа была переполнена горечью и гневом, а стихи – именно в тот день, впритык ко всему только что пережитому – не вышли, не получились. И дело не в сильных выражениях, из-за которых, как я тогда думал, их не напечатала наша «Красноармейская правда», а в том, что за этими сильными выражениями, за криком боли не накопилось еще той внутренней силы, которая делает стихи стихами.

Стихи об этом же самом написались потом и совсем по-другому. Был ноябрь сорок первого года, возвращаясь с Мурманского участка фронта, мы по дороге в Архангельск застряли во льдах.

Там-то и вспомнились первые недели войны, все пережитое тогда и отстоявшееся в душе, именно все, а не только одна наша поездка под Борисов, хотя, как самая точная и близкая к жизни подробность, в стихах присутствовали тот самый день и та самая деревня:

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: – Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем...

...В редакцию мы приехали к вечеру, а на следующее утро снова уехали, на этот раз в район Краснополя.

Эта поездка, во время которой мы не слышали ни одного выстрела, за исключением далекого грохота канонады где-то на Днепре, у Рогачева, все-таки врезалась в память. Мы ехали через Рославль, Кричев, Чериков, Пропойск, через маленькие города, в которых я никогда в жизни, наверно, не побывал бы, если бы не война.

В Рославле мы с фотокорреспондентом «Правды» Мишей Калашниковым зашли в буфет, и нам налили там оставшиеся на дне бутылки последние капли какого-то ликера.

Дороги были пыльные, а от Кричева до Краснополя невероятно ухабистые. В маленьком районном городке Краснополе мы остановились у книжного магазинчика и купили несколько карт Могилевской области и Белоруссии. Это были детские карты, наведенные тонкими синими линиями, те самые карты, которые мы когда-то в школе раскрашивали зеленым, синим и красным. Могло ли мне когда-нибудь прийти в голову, что вот по такой карте я буду во время войны разыскивать какие-то нужные мне города и села? Задание редакции было найти в районе Краснополя находившиеся где-то там дивизии, которые переформировывались после выхода из окружения. Говорили, что у них большой боевой опыт и что мы можем взять в этих дивизиях нужный для газеты материал.

Одну дивизию мы действительно нашли около Краснополя. Трое из нас остались в этой дивизии, а мы с Алешей Сурковым поехали дальше, в другую. Во время этой поездки мы подружились с ним.

Дорога шла через какие-то глухие, совершенно неведомые деревни. Они были еще далеко от фронта, и я думаю, что даже потом, уже заняв Смоленск, немцы, наверное, целыми неделями не добирались до этих, оставшихся у них в тылу, глухих мест. Но, хотя фронт был еще далеко, по всем дорогам, шедшим с запада на восток, по всем проселкам и тропинкам двигались бесчисленные беженцы. Население окрестных сел пока еще не трогалось с мест, хотя многие уже готовились к уходу.

А по дорогам шли беженцы из-под Белостока, из-под Лиды... Они ехали на невообразимых арбах, повозках. Ехали и шли старики, каких я никогда не видел, с пейсами и бородами, в картузах прошлого века. Шли усталые, рано постаревшие женщины. И дети, дети, дети... Детишки без конца. На каждой подводе шесть-восемь-десять грязных, черномазых, голодных детей. И тут же на такой же подводе торчал самым нелепым образом наспех прихваченный скраб: сломанные велосипеды, разбитые цветочные горшки с погнувшимися или поломанными фикусами, скалки, гладильные доски и какое-то тряпье. Все это кричало, скрипело и ехало, ехало без конца, ломаясь по дороге, чинясь и снова двигаясь на восток.

Наконец мы заехали в такую глушь, где даже не было беженцев. По проселкам шли только мобилизованные. В деревнях оставались женщины. Они выходили на дорогу, останавливали машину, выносили из погребов крынки с холодным молоком, поили нас, крестили и вдруг, как-то сразу перестав стесняться того, что мы военные и партийные, говорили нам: «Спаси вас господи. Пусть вам бог поможет», – и долго смотрели нам вслед. Просьбы взять деньги за молоко отвергались без обиды, но бесповоротно.

Деревни были маленькие, и около них, обычно на косогорах, рядом с покосившейся церквушкой, а иногда и без церквушки, виднелись большие кладбища с одинаковыми, похожими друг на друга старыми деревянными крестами. Несоответствие между количеством изб в деревне и количеством этих крестов потрясло меня. Я понял, насколько сильно во мне чувство родины, насколько я чувствую эту землю своей и как глубоко корнями ушли в нее все эти люди, которые живут на ней. Горести первых трех недель войны убедили меня в том, что и сюда могут прийти немцы, но представить себе эту землю немецкой было невозможно. Что бы там ни было, она была и останется русской. На этих кладбищах было похоронено столько безвестных предков, дедов и прадедов, каких-то никогда не виденных нами стариков, что эта земля казалась русской не только сверху, но и вглубь, на много саженей.

До дивизии, которую мы с Сурковым искали, мы добрались под вечер. Было абсолютно тихо. Так тихо, что, хотя до Днепра еще было далеко, все-таки мгновениями слышалось, как там бьет тяжелая артиллерия.

Дивизия стояла на отдыхе. Сейчас в ней оставалось в строю две с половиной тысячи человек. Но подполковник-армянин, который командовал ею сейчас, потому что командир еще был где-то в окружении, спокойно сказал нам, что через два-три дня у него будет восемь тысяч человек. Когда я спросил его, из чего складывается такая арифметика, он ответил, что

три тысячи мобилизованных уже собраны в окрестных деревнях, а три тысячи наверняка еще подойдут за эти дни из окружения.

Он говорил об этом так уверенно, словно речь шла о лыжном переходе, когда одни участники уже пришли на финиш, а другие еще в пути. Тогда мне это показалось странным, но потом – и очень скоро – я понял, что он был прав. В окружении оставались пушки, пулеметы, а люди выходили оттуда. Они просачивались через немецкие моточасти, как вода через гребенку. Окружение танками в этих густых минских и смоленских лесах было в большей степени окружением материальной части, чем окружением людей. И люди каждый день проходили через густые леса тысячами. Некоторые из них — ни разу не встретившись с немцами.

Из штаба дивизии мы поехали в полк уже на следующее утро. На опушке леса нас встретил только что назначенный командир полка, капитан, совсем молодой обаятельный парень.

У него в полку оставалось всего двести человек. Но, несмотря на это, чувствовались полный порядок и дисциплина. Он и его начальник штаба подробно рассказывали нам о тяжелых боях, с которыми дивизия отходила от границы, о том, как жестоко и кровопролитно дрался их полк, словом, рассказывали все то, о чем я потом, вернувшись из поездки, написал в своей статье «Части прикрытия». Она по чистой случайности не была тогда напечатана в «Известиях», и мне жаль, что так вышло, потому что я считаю ее у себя единственным описанием первых боев, хоть сколько-нибудь приближающимся к объяснению правды тех дней.

Лицо лейтенанта – начальника штаба полка показалось мне очень знакомым. Он был очень похож на кого-то, только я не мог вспомнить, на кого. Потом, когда мы уже закончили разговор, он вдруг спросил меня, не бывал ли я в издательстве «Советский писатель». Я ответил, что не только бывал, но и работал там до войны редактором в отделе поэзии. Тогда он сказал, что я, наверное, знаю его брата. Только тут я сообразил, на кого он так похож. Начальник штаба был братом заведующего художественным отделом издательства художника Морозова-Ласса.

Странно было, сидя здесь, в лесу, под сосной, вдруг вспомнить, как я совсем недавно препирался с братом этого лейтенанта в издательстве по поводу обложки и иллюстраций к моей поэме «Первая любовь».

На прощанье командир полка в порыве добрых чувств обменял Суркову его винтовку на автомат. Я, еще не преодолев штатской страсти к оружию, завидовал Суркову черной завистью.

Мы ехали обратно по тем же самым дорогам. В одном лесочке встретили ребяташек – мальчика лет шести и двух девочек постарше. Они шли с полными кружками земляники. Мы остановили машину и попросили продать нам ягоды. Мальчик был готов продать ягоды, но его старшая сестра быстро отвела его в сторону, что-то сердито сказала ему, а потом протянула землянику, отказавшись от денег. Нам не хотелось брать у ребят землянику, не заплатив, но девочка сказала:

– Колька хочет взять деньги, но это нельзя.

– Почему? – спросил я.

– Мать узнает, откуда у него деньги, он ей расскажет, что у вас взял. Мать рассердится и плакать будет, а Кольку выпорет. Вы так берите, мы еще соберем.

Пришлось взять так. Было трогательно, а еще больше грустно. Я думал о том, что будет с этими ребяташками через неделю.

Когда мы ехали обратно через Краснополье, то увидели двух женщин, державших на руках ребяташек. Детишки махали руками вслед машинам. Не знаю, почему именно в тот момент меня прошибла слеза и я чуть не заревел. Конечно, детей научили махать руками

при виде едущих на машинах военных, а все-таки было в этом что-то такое, отчего хотелось зареветь.

Заехали на обратном пути за товарищами, оставшимися делать материал о другой дивизии. Здесь, в дивизии, устроили привал на полтора часа. Выяснилось, что эта дивизия отступала через Рогачев, где был взорван нами самый большой в стране завод сгущенного молока, и мы запаслись этим молоком, заполнив им имеющуюся тару. Нам налили по котелку, и мы тронулись в дорогу, макая черные сухари в сладкое сгущенное молоко. Мне казалось, что я давно не ел ничего вкуснее. Вдруг вспомнилась Монголия, где мы с Колей Кружковым вот так, открыв каждый по банке сгущенного молока, купленного в Монценкопе, за один присест приканчивали их, макая в молоко черные сухари или хлеб.

К вечеру добрались до Рославля. Возник спор. Я и Сурков хотели остановиться в гостинице, но ребята из фронтовой газеты решили пойти к коменданту. Мы с Сурковым уже расположились в номере на десять кроватей и заварили кипяток с молоком, когда явились ребята и сказали, что, по словам коменданта, положение тревожное и он не рекомендует нам ночевать в городе.

Потом выяснилось, что комендант считал положение тревожным потому, что сегодня днем немцы сбросили две бомбы на станцию. Вот и все причины для тревоги. Мы, конечно, решили наплевать на это и завалились спать.

Среди ночи началась пулеметная трескотня. Стреляли счетверенные установки по невидимым самолетам. Более дисциплинированные товарищи пошли в сквер напротив гостиницы и просидели там на холоде в щелях, по крайней мере, два часа. Мы трое – менее дисциплинированные Сурков, Калашников и я остались валяться на кроватях в гостинице и не прогадали. Тревога оказалась напрасной.

Вернулись в редакцию под Смоленск во второй половине следующего дня, сделав в обе стороны, наверно, километров восемьсот, если считать все петли. Я рано лег спать, а на самом рассвете, высунувшись из палатки, лежа на животе, написал статью «Части прикрытия». Кроме статьи, написал письмо домой. Мне вдруг захотелось описать эти две недели войны, которые были так непохожи на все, о чем мы думали раньше. Настолько непохожи, что мне казалось: я и сам уже теперь не такой, каким уезжал 24 июня из Москвы.

После всего виденного и пережитого за две недели – не в смысле физической опасности для меня самого, а в смысле моего душевного состояния у меня было такое чувство, что уже ничего тяжелее в жизни я не увижу.

Уже не помню, что я писал в этом письме, помню, что, конечно, не сообщая подробностей, давал понять, что тяжело и что хотя не надо отчаиваться, однако надо готовить себя к самым тяжелым вещам.

Когда написал и уже упаковал письмо вместе с корреспонденцией, чтобы отправить в Москву, вдруг заколебался. Так и не послал письма, порвал. Было такое чувство, что, пока письмо идет, может так много произойти, что стоит ли вообще посылать его.

Утром приехал Борис Громов из «Известий», я передал ему статью «Части прикрытия». Он обещал мне отправить ее в Москву, в редакцию. Только потом выяснилось, что статья так и не попала туда: он забыл ее у нас в «Красноармейской правде», и, когда я вернулся из поездки, ребята отдали мне пакет со статьей, которую уже поздно было печатать...

Как я теперь вижу по документам, поехав в район Краснополя в переформировывавшуюся после выхода из окружения дивизию, мы оказались в 55-й стрелковой дивизии 4-й армии.

Я пишу в дневнике, что командира дивизии не было, потому что он еще выходил из окружения. На самом деле первый командир дивизии полковник Д.И. Иванов к тому времени, когда мы приехали, уже погиб, но, очевидно, в штабе дивизии тогда еще не были уверены в этом. Фамилия командовавшего дивизией в день нашего приезда «подполков-

ника-армянина» была Тер-Гаспарьян. Потом в ходе войны Геворк Андреевич Тер-Гаспарьян командовал другой, 227-й дивизией, а позже был начальником штаба в 60-й армии у генерала Черняховского. Я был в этой армии, когда она весной 1944 года штурмовала Тарнополь, и видел начальника штаба. Но, как видно, та первая встреча с ним в начале войны в сорок четвертом году мне не вспомнилась; генерал, начальник штаба армии, штурмовавшей Тарнополь, должно быть, не ассоциировался в моих мыслях с тем подполковником, который в июле 1941 года с боями вывел остатки своей дивизии от Щары за Днепр.

Может быть, это происходило еще и потому, что во второй половине войны люди, форсировавшие Днепр и Днестр, Неман и Вислу, Одер и Нейсе, сами неохотно обращались в своих воспоминаниях к сорок первому году.

И в нашей корреспондентской памяти часто как бы порознь существуют люди первых месяцев сорок первого года и люди конца войны – люди Висло-Одерской, Силезской, Померанской, Берлинской, Пражской операций. А между тем гораздо чаще, чем на это можно было надеяться, на проверку оказывалось, что и те и другие – одни и те же люди!

В статье «Части прикрытия», о которой я упоминаю в дневнике, описывались действия 228-го полка 55-й дивизии «на реке Щ.»». Географические названия тогда зашифровывались – имела в виду река Щара. Бой этот происходил с середины дня 24 июня до утра 25-го. В воспоминаниях начальника штаба 4-й армии генерала Сандалова именно об этом бое сказано, что немцы были остановлены вторым эшелоном 55-й стрелковой дивизии на реке Щара и к исходу 24 июня им так и не удалось перешагнуть ее.

Я писал, что на рубеже Щ. полку (вместе с двумя дивизионами 141-го артиллерийского полка – это я добавляю уже теперь) удалось задержать немецкую дивизию на двенадцать часов и вывести у немцев из строя тридцать танков и восемнадцать орудий. Судя по документам, это близко к действительности.

228-м стрелковым полком в этом бою командовал Г.К. Чагапова. Известно, что он был ранен в этом бою. Дальнейшее неизвестно. Я нашел его личное дело, в котором сказано, что подполковник Григорий Константинович Чагапова пропал без вести в 1941 году.

В конце статьи было сказано о том, в чем я видел тогда главный смысл происходивших событий: «К рассвету полк оставил этот лес, изрешеченный снарядами, изрытый воронками... Мы тоже понесли серьезные потери, но, как ни были они тяжелы, бойцы в эту ночь чувствовали себя победителями... Бойцы знали: там, сзади, развертываются главные силы, используя эти 12 часов, выигранные ими в кровавом бою».

Слова эти отражали страстную веру отходивших от границы и гибнувших в боях людей в то, что все жертвы не даром, что каждый выигранный ими час поможет нашим главным силам изготавиться наконец, нанести тот встречный удар, неотступное ожидание которого, несмотря ни на что, не покидало нас.

И каждый выигранный час был действительно бесконечно дорог пусть не для нанесения ответного сокрушительного удара, на который мы тогда еще не были способны, а для более реальной цели – создания прочной линии обороны в тылу у отступавших армий нашего Западного фронта.

Армий, а не «частей прикрытия» – заголовок моей статьи был утешительной неправдой, в которую мне очень хотелось верить, но которая от этого не переставала быть неправдой.

Глава четвертая

Возвращаюсь к дневнику.

...Едва я отдал статью Громову, как новый редактор «Красноармейской правды» Мионов сказал нам, что неплохо было бы съездить в 13-ю армию под Могилев; по сведениям штаба фронта, где-то там высадился немецкий десант, который сейчас успешно уничтожают. Как я уже потом понял, это были первые слухи о немецком прорыве у Шклова.

Для тех дней вообще было характерно, что немецкие прорывы из-за их неожиданности и глубины мы часто принимали за десанты. Так было потом и под Ельней.

В «Красноармейской правде» несколько машин уже вышло из строя. У корреспондентов центральных газет с машинами тоже было негусто. На всю бригаду «Известий» из шести человек имелся один «пикап». Перед тем, как поехать под Могилев, я, посоветовавшись с ребятами, зашел к Миронову и предложил, что, когда мы вернемся из-под Могилева, я могу съездить на одни сутки в Москву на «пикапе» и пригнать сюда, в редакцию, свой «фордик», хотя и старенький, но надежный, купленный наполовину в долг перед самой войной. Это предложение, к моей радости, было принято. Конечно, машин для разъездов по фронту нам действительно не хватало, но моя идея – пригнать сюда машину, – что греха таить, была вызвана еще и отчаянным желанием хотя бы на несколько часов повидать в Москве близких.

Мы двинулись через Смоленск на Могилев, считая, что это займет у нас двое-трое суток.

По дороге заехали в типографию за газетами. Типография помещалась в огромном сером доме, одиноко, как свеча, стоявшем на площади среди пепелища. Было непонятно, как его еще до сих пор не разбомбили. Пока ребята забирали внизу газету, я по какому-то наитию снял телефонную трубку и попросил междугородную дать мне Москву. Мне ответили: «Сейчас».

Это было так неожиданно, что я растерялся и спросил: «Что сейчас?» Мне сказали: «Сейчас дадим Москву». Я ждал минут пятнадцать и наконец услышал в трубке: «Москва, Москва! Говорит Смоленск. Дайте три-шесть-ноль восемь-четыре».

Потом длинный звонок, знакомый голос: «Алло», – потом грохот и одновременно голос телефонистки: «Я вас разъединила. В Смоленске воздушная тревога».

Оказалось, что налетел какой-то самолет и сбросил несколько бомб. К городу шли еще немецкие самолеты. Тревога затягивалась, ребята торопили меня ехать, и я, решив, что раз так, значит, не судьба, сел вместе с ними в «пикап».

Мы поехали на Могилев через Рославль, а когда, остановившись в Рославле, узнали, что, по слухам, под Рогачевом идут удачные для нас бои, свернули на Пропойск – Рогачев. В темноте доехали до Пропойска и там заночевали. Там в церкви стояла редакция газеты 4-й армии. В Пропойске было спокойно, по улицам ходило еще довольно много народу. Мы заночевали на полу в церкви и утром поехали дальше.

В середине дня подъехали близко к Днепру. Дорога была довольно пустынная, но на развилках стояли «маяки». В гуще прибрежных лесов чувствовалось присутствие частей, спрятанных от немецкой авиации, которая весь день одиночными самолетами шныряла над дорогой.

Мы добрались до штаба дивизии, входившей в 63-й корпус, которым командовал комкор Петровский, бывший командир Пролетарской дивизии, сын Г.И. Петровского.

Корпус стоял передовыми частями по берегу Днепра слева и справа от занятого немцами Рогачева. Из штаба дивизии поехали в один из полков. На опушке наткнулись на охранение. Красноармеец вызвал лейтенанта. Лейтенант долго и дотошно разглядывал наши

документы, сверял один с другим, в общем, проявляя бдительность, может быть, и лишнюю, но порадовавшую нас. Потом мы замаскировали машину и пошли вслед за лейтенантом.

В эту поездку мы отправились без Суркова – Трошкин, Кригер, Белявский и я. Сурков засел после краснопольской поездки за стихи и остался пока в редакции, отдав нам в дорогу свой автомат. Мы прошли за лейтенантом шагов двести и вдруг услышали крик:

– Куда идете? Под деревья! Сейчас же под деревья!

На опушке под развесистой сосной на раскладном стуле сидел большой полный человек в галифе и белоснежной рубашке, рядом на сучке висел его китель. Этот человек нам и кричал. Он оказался командиром полка и первоначально встретил нас не слишком ласково, ворчал с сильным грузинским акцентом, что вот ходят тут и демаскируют! И мало ли что корреспонденты! И напрасно мы думаем, что для нас не существует правил маскировки! Напрасно! У него в полку порядок и он никому не позволит нарушать этот порядок!

В полку у него, как мы вскоре потом убедились, был действительно прочный порядок. Потом, через несколько минут, сменив гнев на милость, полковник приказал дать ему китель, надел его, застегнулся на все пуговицы, приказал расстелить плащ-палатку и, выйдя из роли командира полка и став хозяином, угостил нас завтраком.

Он оказался хозяином не только гостеприимным, но и запасливым. Кроме консервов и жареного мяса, нам была даже предложена коробка шоколадного набора, что показалось уж вовсе странным в этом лесу. За завтраком мы разговорились. Полковник сказал, что действительно позавчера у него был интересный бой, в котором принимал участие один из его батальонов. Он рассказал подробности боя, во время которого на том берегу была уничтожена группа немцев.

– Но сейчас, – добавил он, – на фронте полка все тихо и, наверно, будет тихо. Немцы сейчас стягивают силы куда-то в другое место. А здесь только переправляются разведывательные партии то с их берега на наш, то с нашего на их.

Потом он рассказал о способах борьбы с немецкими ракетчиками, которые применялись у него в полку. Ракетчиков было трудно ловить в лесу, поэтому делали просто: на болота и в разные самые глухие места засылали по ночам десятки наших ракетчиков, которые одновременно с немцами пускали такие же самые ракеты, и немецкие самолеты не знали, где им бомбить.

Потом полковник рассказал, что его бойцы сбили неподалеку немецкий самолет.

Трошкин снял полковника и комиссара полка. Полковник – в кителе, с автоматом, в новенькой каске, огромный, монументоподобный – сидел на складном стуле и держал на коленях большую карту.

Кто знает, где он теперь, этот гостеприимный карталинец, грозный с виду, а на самом деле веселый и шумный человек, полковник Кипиани.

От полковника мы поехали к самолету. Он стоял километрах в десяти от штаба полка на открытом месте, на опушке леса. Самолет был совершенно цел. Кажется, в нем были перебиты только рулевые тяги да было несколько пробоин в плоскостях. Летчики, очевидно, убежали в лес. Их до сих пор так и не смогли найти. В самолете все было на месте: часы, фотоаппараты. И то, что самолет был в таком состоянии, было тоже одним из элементов порядка в полку, ибо у самолета дежурили часовые.

Трошкин сделал несколько снимков, и мы поехали обратно в Пропойск, с тем чтобы, переночевав там, двинуться дальше на Могилев.

В Пропойске редакции армейской газеты мы уже не застали. Она куда-то уехала. В городе было тревожно. Днем его бомбили. Все окна в домах были тщательно затемнены. Не зная, где заночевать, мы решили попробовать подъехать к городской гостинице. Оказалось, что там не только есть свободные комнаты, но вся эта маленькая полудеревенская гостиница

вообще совершенно свободна. В ней были только две молодые женщины: одна – заведующая гостиницей Аня и вторая – ее помощница, эвакуировавшаяся сюда из Белостока, Роза.

Мы решили выспаться и все четверо легли в одной комнате, положив под подушки оружие. А Боровков устроился на «пикапе» под деревьями у наших окон.

Я лежал у самого окна. Оно было открыто. На крыльчке сидел Боровков с Аней и Розой и по своей привычке бесконечно говорил, мимоходом покоряя их сердца.

– Скажите, – мечтательно спрашивала Аня, – почему звезды бывают то белые-белые, а то, наоборот, совсем голубые?

– Отдаленность, – после короткой паузы отвечал Боровков голосом все знающего и все понимающего человека.

Мне не спалось, и я вышел на крыльцо и целый час сидел рядом с ними и молчал, пока они говорили все втроем. А вернее, говорил Боровков, а они слушали. Потом вдруг подошел какой-то человек, очевидно дежурный, и стал требовать, чтобы все ушли в дом, потому что не положено ночью в военное время сидеть на улице. Почему не положено, он и сам, наверное, не знал, но в голосе его чувствовалась убежденность.

Мы пошли в комнату. Боровков сидел на диване рядом с Розой и продолжал с ней разговаривать, а я присел на окно. Аня подошла ко мне и тихим, задышающимся шепотом стала шептать мне об этой Розе, что она приехала к ним сюда из Белостока и, наверно, шпионит, что она не верит ей, что она говорила начальству, чтобы Розу забрали из гостиницы, но что ее никто не слушает, никто в это не верит, а вот увидят, что она была права!

И вдруг я почувствовал, что всю свою тоску оттого, что война и что муж ее сейчас где-то в армии, неизвестно где, и что в городе темно и страшно, все это по какой-то странной логике она готова была сейчас валить на ни в чем не повинную девушку из Белостока, которую в этот момент считала чуть ли не причиной всех своих несчастий, и разуверять ее было бы бесполезно. Мне надоело ее слушать, я пошел к ребятам и завалился спать.

Рано утром мы уехали из Пропойска. В городе ходили тревожные слухи, население покидало его. Люди уже были готовы ко всяким неожиданностям.

Нам предстояло ехать в Могилев, где, по нашим сведениям, стоял штаб 13-й армии. В Могилев можно было ехать в объезд через Чаусы или лесами, мимо Быхова, вдоль Днепра. Это был путь покороче, и мы выбрали его.

Дорога была абсолютно пустынная, мы так и не встретили на ней ни одного красноармейца. Очевидно, там, впереди, были наши части, но здесь не было никого. Как потом оказалось, мы проскочили эту дорогу за несколько часов до того, как немцы переправились через Днепр у Быхова и перерезали ее. Но тогда мы этого не знали; дорога была спокойная, и мы ехали по ней, довольные тишиной леса и неожиданно – не по-летнему – прохладным утром.

В Могилев мы приехали около часу дня. Город был совсем не похож на тот, каким мы его оставили. В нем было уже пусто. На перекрестках стояли орудия, рядом с ними расчеты. У начальника гарнизона, все того же полковника Воеводина, который когда-то мне сообщил, где находится штаб фронта, мы узнали, что штаба 13-й армии в Могилеве нет, что он переехал в Чаусы, назад, за семьдесят километров отсюда. Как раз в те самые Чаусы, через которые мы утром решили не ехать.

Но нам уже показалось нелепым ехать обратно в тыл, чтобы искать штаб армии и там снова выяснять, куда и в какую дивизию нам ехать.

Переехав обратно через Днепр и свернув на Оршу, мы поехали прямо в штаб ближайшей дивизии, которая, по сведениям начальника гарнизона, стояла в том самом лесу, где еще недавно располагался штаб фронта. Мы свернули в этот лес. В нем было пусто, остались лишь следы машин, засохшие ямы в глинистой земле, увядшие ветви разбросанной маскировки. Мы вновь выбрались на шоссе и решили ехать по нему еще дальше на север, к Орше, надеясь наткнуться вблизи шоссе на какой-нибудь из штабов дивизий.

Мы проехали уже километров тридцать пять или сорок, когда нам все чаще и чаще стали попадаться навстречу машины, летевшие с бешеной скоростью. Потом из кабины одной из встречных машин высунулся человек и ошалелым голосом крикнул:

– Там немецкие танки! – и понесся дальше.

Мы продолжали ехать. Нам было непонятно, как могут оказаться здесь, на этом шоссе, немецкие танки, в то время как мы знали, что вдоль всего Днепра стоят наши войска с приказом во что бы то ни стало задержать немцев.

Мы ехали с порядочной скоростью – шоссе было прекрасное, гудронированное, – как вдруг впереди начали рваться снаряды. Разрывы накрыли дорогу очень точно. Машины, которые шли впереди нас, стали разворачиваться; на шоссе возникла суматоха. Боровков, увидев разрывы, ни слова не говоря, выскочил из кабины. Я не успел удержать его, но Трошкин уже выскочил из машины и вернул его. Боровков объяснял, что он бросился к лесу, потому что подумал, что всем нам нужно спрятаться.

– Все сидят в машине, – упрекал его Трошкин, – а ты? Ты знаешь, что за это полагается?

Мы развернулись и поехали по шоссе назад мимо поставленных вдоль шоссе в кюветах противотанковых орудий, которые издали казались кустами, так хорошо они были замаскированы. Когда мы ехали вперед, то не совсем поняли, даже удивились, зачем стоят здесь эти орудия. А теперь, когда возвращались, нам казалось уже более вероятным, что немцы действительно переправились на этот берег Днепра. Во всяком случае, нам надо было узнать, что происходит. Километра через полтора прямо на дороге мы встретили седого полковника, очень спокойного и, казалось, ничему не удивляющегося. Когда мы сказали ему, что впереди по шоссе бьет немецкая артиллерия, он пожал плечами и лениво ответил:

– Очень может быть.

Мы попросили его сказать, где штаб хоть какой-нибудь дивизии. Он внимательно посмотрел на нас и после паузы сказал:

– Штаб хоть какой-нибудь дивизии? Ну так поедem в нашу.

Проехав назад еще километра четыре и свернув с шоссе направо, мы въехали в редкий сосновый лес. Там за раскладным столиком на раскладном стуле сидел грузный, обливавшийся потом от жары полковник с орденами на груди. Он поднялся нам навстречу и спросил, кто мы. Мы ответили, что мы корреспонденты.

– А счастье было так возможно! – сказал полковник.

Он был очень взволнован. Мы в первую секунду подумали, он ждал вместо нас кого-то другого и разочарован, что мы оказались корреспондентами. Но, как выяснилось, его восклицание относилось совсем не к нам.

Полковник с горечью рассказал, как только что у него на правом фланге батальон, окруживший немецкий десант в какой-то деревушке, уже готов был добить этих немцев, но немцы подняли сразу несколько белых флагов. Обрадованный командир батальона поднялся вместе со своими бойцами во весь рост и пошел брать немцев в плен по открытому полю. И в это время неожиданный огонь немецких минометов и пулеметов за несколько секунд скошил три четверти батальона. Остаткам батальона пришлось отступить.

Даже и здесь тогда еще не понимали, что шкловский прорыв немцев – это прорыв, а не десант, и поэтому принимали разведывательные части немцев, двигавшиеся в разных направлениях, впереди их главных сил, за десантные группы.

Всех подробностей этого дня не помню, но некоторые помню отчетливо. До этого за первые дни войны мне все как-то не приходилось попадать в воюющие части. То мы не могли добраться до них, то это были части, уже вышедшие из боя. А тут впервые после Халхин-Гола я видел работу штаба в боевой обстановке.

Привезший нас полковник оказался начальником оперативного отделения штаба дивизии. Я редко встречал таких спокойных людей. Он разговаривал со своими подчиненными, что-то отмечал на карте и неторопливо скрипучим голосом отдавал приказания.

Позади нас, метрах в трехстах, стояла батарея тяжелой корпусной артиллерии и с небольшими промежутками через наши головы гвоздила куда-то на ту сторону Днепра.

Не совсем зная, о чем во всей этой горячке можно разговаривать с людьми, мы просто толкались между ними, прислушивались к разговорам, ходили от одного к другому. Вскоре с небольшим перелетом сзади нас разорвался первый немецкий снаряд. В лесу были открыты маленькие щели, в которых можно было или сидеть на корточках, или стоять, согнувшись в три погибели. Но щель все-таки щель, и, когда вслед за первым между деревьев разорвалось еще три или четыре снаряда, мы все полезли в эти щели.

Немцы, очевидно, били не по штабу, который они вряд ли могли тут обнаружить, а по неудачно поставленной в трехстах метрах от штаба тяжелой батарее. Били тоже тяжелыми снарядами. Продолжалось это около двух часов без больших пауз. Иногда мы вылезали из окопчиков, закуривали, но почти сразу же начинался новый налет, и приходилось опять ссыпаться в щели. За два часа я насчитал пятнадцать таких налетов.

Двухфюзеляжный «фоккевульф», плавая над лесом, корректировал огонь. То ли помогли окопчики, то ли просто повезло, но во всем набитом людьми лесу после двухчасового обстрела оказалось всего несколько раненых.

Когда обстрел окончился, нас познакомили с работником дивизионной газеты. Дело шло к вечеру, и он предложил нам поехать ночевать к ним во второй эшелон, где стоит их газета, а утром снова вернуться и поехать вместе в один из полков. Мы согласились, уже собрались ехать, Боровков даже развернул между деревьями «пикап», но задержались, чтобы поговорить об обстановке с начальником оперативного отделения. Командир дивизии незадолго до этого приказал подать себе коня и куда-то уехал. Но едва мы подошли к начальнику оперативного отделения, как вдруг началась близкая и частая стрельба из малокалиберных орудий, а вслед за этим пришло телефонное донесение: немецкие танки в четырех километрах от штаба на шоссе и правее его.

Тут уже было не до того, чтобы расспрашивать об оперативной обстановке. Но и уезжать было как-то стыдно. Донесения шли все тревожнее. В трех километрах. В двух. В полутора.

Седой полковник приказал всем нам, находившимся в штабе, разобрать гранаты и приготовить бутылки с бензином. Неожиданно выяснилось, что ни у кого не осталось спичек. Во время обстрела нервничали, курили и извели все спички.

Несколько минут, забыв о танках, все занимались мобилизацией внутренних ресурсов – искали коробки и делили спички, чтобы были у каждого. Потом сидели и ждали. Стрельба все приближалась. Потом стал слышен далекий грохот моторов. Последнее сообщение было, что танки в восьмистах метрах от штаба. Но вдруг стрельба начала стихать, и в штаб сообщили, что танки отбиты и повернули обратно.

После этого мы с работником дивизионной газеты решили, что ехать уже не стыдно, хотя в душе мне хотелось уехать раньше, и двинулись из лесу по проселку в другой лес, лежавший километров за десять отсюда.

Не успели мы остановиться там, в лесу, в редакции, как низко, над самым лесом, прошло несколько троек немецких бомбардировщиков. Они шли очень низко. Но лес был таким густым, что, очевидно, стоявшие под елками машины редакции сверху были совершенно не видны. Мы устроили себе под одной из елок шалаш из наломанных веток и, растянувшись, задремали. Через час приехал начальник политотдела дивизии, старший батальонный комиссар, маленький черный южанин не то из Херсона, не то из Николаева. Он много и горячо рассказывал нам о последних боях.

Переночевав в лесу, мы утром вместе с начальником политотдела вернулись в штаб дивизии, который стоял по-прежнему в том же лесочке.

Белявский и Кригер вместе с «пикапом» остались в штабе, чтобы собрать материал, а мы с Пашей Трошкиным и старшим батальонным комиссаром на его машине двинулись в глубь леса, по лесистым высоткам, по которым вдоль берега Днепра проходила линия обороны дивизии.

С того берега Днепра по-прежнему была немецкая артиллерия, но сегодня с утра она уже не делала огневых налетов, а вела только беспокоящий огонь по лесу и дороге. Сначала несколько разрывов далеко на шоссе, потом один снаряд разорвался сзади нас на лесной дороге, потом было еще несколько разрывов в разных местах в лесу.

Доехав до крутого подъема на лесистый холм, мы вылезли из машины и пошли пешком. По гребню холмов были отрыты окопы полного профиля. Тут же, чуть поодаль, находился командный пункт батальона в большой, благоустроенной, крытой в два наката землянке. Что происходило правей, в батальоне не знали. Он должен был оборонять только свой кусок берега.

Я, правда, не совсем понял, как он мог это делать. Хотя старший батальонный комиссар раньше говорил нам, что оборона идет по самому берегу, но на самом деле все обстояло не так. С холма была видна только лесистая ложина впереди. В поле зрения – густой лес, и сам берег Днепра отсюда совершенно не виден. Как, занимая эти позиции, батальон мог помешать переправе немцев через Днепр, я не понял.

Из этого батальона мы пошли в соседний. Но когда добрались до места его прежнего расположения, там его не оказалось. Нам сказали, что батальон поднят и переброшен правей, к шоссе. Тогда мы предложили старшему батальонному комиссару, который, по его словам, знал всю эту местность, найти этот батальон и вообще пойти направо, туда, где, очевидно, что-то происходило. Но он сказал, что переместившийся батальон трудно будет разыскать, что у него еще есть дела в том батальоне, из которого мы только что ушли, а нам лучше всего вернуться в штаб дивизии, нас там проинформируют, и мы пойдем туда, куда нам будет нужно. На этом мы с ним расстались и больше не виделись.

В штабе дивизии нам сказали, что за два километра отсюда находится штаб корпуса. Самые интересные операции происходят сейчас не здесь, а на фронте других дивизий, входящих в корпус, и нам лучше всего поехать туда. А вернее, пойти, чтобы не гонять лишний раз машину и не демаскировать этим расположение штаба.

Мы уже собрались идти, как вдруг в лесу появилась группа вернувшихся разведчиков и еще два десятка человек, присоединившихся к ним из другой дивизии, с боями выходившей из окружения. Командовал ими начальник АХО полка. Его маленький отряд состоял из врача, санитаров, хлебопеков, сапожников и всяких других тыловых людей.

Врач, который шел с ними, оказался крошечной худенькой женщиной. Все в отряде относились к ней с уважением и нежностью, говорили о ней захлебываясь. Она была из Саратова, из города моей юности, и посреди разговора мы вместе с ней вдруг стали вспоминать разные саратовские улицы. Потом она очень просто рассказала, какой у них был бой и как она убила из нагана немца. В ее устах все это было до такой степени просто, что нельзя было не поверить каждому ее слову. Она говорила обо всем происшедшем с нею как о цепи таких вещей, каждую из которых было совершенно необходимо сделать. Вот она окончила свой зубоврачебный техникум, стали брать комсомолок в армию, она пошла. А потом началась война. Она тоже со всеми пошла. А потом оказалось, что зубов никто на войне не лечит, и она стала вместо медсестры – нельзя же было ничего не делать. А потом убили врача, и она стала врачом, потому что больше ведь некому было. А потом раненные впереди кричали, а санитар был убит, и некому было их вытащить, и она полезла вытаскивать.

А потом, когда на нее пошел немец, то она выстрелила в него из нагана и убила его, потому что если бы она не выстрелила, то он бы выстрелил, вот она его и убила. Все это перемежалось в ее рассказе с воспоминаниями о муже, о котором она стыдливо говорила, что он еще не на военной службе, как будто она в этом была виновата, и о ребенке, которого она называла «лялька».

Было странно, что у нее был ребенок, такая она сама была маленькая. Потом, когда я кончил мучить ее расспросами, за нее взялся Паша Трошкин. Он усадил ее на пенек и стал снимать. Сначала в каске, потом без каски, с санитарной сумкой, без санитарной сумки. Перед тем как он начал ее снимать, она улыбнулась, вытащила из своей санитарной сумки маленькую сумочку, а оттуда совершенно черную от летней пыли губную помаду и обломок зеркальца и, прежде чем дать себя снять, очистила эту помаду от пыли и накрасила губы. Все это вместе взятое – помада и наган, из которого она стреляла, держа его двумя руками, потому что он тяжелый, и она сама с ее крохотной фигуркой, и огромная санитарная сумка, – все это было странно, и трогательно, и незабываемо.

Едва Трошкин кончил ее снимать, как по лесу снова, как вчера, стала бить артиллерия. Я попал в один окопчик с полковником, командиром дивизии. После каждого нового разрыва полковник, приподнявшись из окопа, кричал всякие нелестные слова сидевшему в десяти метрах от нас, в другом окопчике, начальнику артиллерии.

– Зачем вы ее здесь поставили? – кричал он про батарею. – Нашли место!

– Разрешите доложить, я ее поставил потому... – начинал отвечать начальник артиллерии, но в это время разрывался следующий снаряд, и оба присаживались в своих окопчиках. А через полминуты снова поднимались.

– Я вас не спрашиваю, как и почему! – кричал полковник. – Я просто приказываю вам...

Следующий разрыв. Оба снова прятались в свои щели, и хотя артиллерийский обстрел не располагал к веселому настроению, было во всем этом что-то смешное.

Насмешил нас на этот раз и Петр Иванович Белявский. Самый старший среди нас и человек чрезвычайно, щепетильно аккуратный, он во время обстрела почти после каждого разрыва вылезал из щели и отряхивался от земли и глины. И все это для того, чтобы через минуту снова кинуться в щель и, переждав там, опять вылезти и опять отряхнуться. Смешливый Кригер называл это: «Петя чистит свою курточку».

Когда налет кончился, Кригер и Трошкин остались здесь, в лесу, с «пикапом», а мы с Белявским пошли в штаб корпуса. Там, в штабе, мы встретили комиссара корпуса, молодого спокойного бригадного комиссара, и начальника политотдела, огромного мужчину с орлиным носом, в каске.

Поговорив с ними, мы узнали, что самые интересные дела происходят в их левофланговой дивизии, обороняющей Могилев. Мы не стали терять времени, простились, обещав приехать потом, когда побываем в дивизии, и пошли обратно, за Кригером и Трошкиным.

Как нам сказали, штаб этой 172-й дивизии стоял здесь, на восточной стороне Днепра, километрах в трех от Могилева. Захватив ребят, мы поехали туда. Утром, когда мы ехали по шоссе, оно было еще совершенно цело. А сейчас было разбомблено немцами, на обочине валялись искореженные обломки грузовика! На кустах висели внутренности лошадей. Но все семь немецких бомб, разорвавшихся здесь, на шоссе, легли в строгом порядке, только небольшими секторами воронок захватывая шоссе по краям. Машины продолжали идти по шоссе зигзагами, петляя между этими воронками. В дивизию мы добрались уже к самому вечеру...

* * *

Прежде чем перейти к следующим страницам дневника, прерву себя тогдашнего, и на этот раз довольно надолго. Мне пришлось задним числом многое объяснять самому себе, идти по следам людей и событий, и я хочу поделиться результатами этого поиска.

Сейчас, глядя на трофейные отчетные карты немецкого генерального штаба сухопутных войск, я имею возможность реально представить себе обстановку, которая складывалась в районе Могилева в те дни, когда мы туда поехали.

Редактор «Красноармейской правды», направляя нас под Могилев, имел сведения, что «где-то там высадился немецкий десант, который сейчас удачно уничтожают». На самом же деле, судя по нанесенным на карту донесениям действовавших в этом районе немецких частей, их 29-я моторизованная и 10-я танковая дивизии к 11 июля не только уже переправились через Днепр в районе Шклова, северней Могилева, но и продвинулись после переправы на 10–20 километров к востоку.

А южней Могилева, в районе Быхова, судя по той же карте, немецкие 10-я моторизованная и 4-я танковая дивизии, переправившись через Днепр, уже контролировали к этому утру на его восточном берегу целый плацдарм – около 40 километров в ширину.

Сами того не ведая, мы въехали в уже создавшийся к тому времени вокруг Могилева мешок.

Полковник Шалва Григорьевич Кипиани, у которого мы оказались в начале этой поездки, днем 11 июля, был командиром 467-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии. В дневнике есть неточность. Эта дивизия не входила в 63-й корпус Петровского, а была его соседом справа. Оперативная сводка 67-го полка за этот день вполне соответствует той обстановке затишья, которую мы застали: «...полк занял район обороны по левому берегу реки Днепр... Погода солнечная, ветер в сторону противника. Дороги полевые доступны для танков».

События в полку и в дивизии развернулись через двое суток после нашего отъезда. Корпус Петровского 13 июля, действуя на главном направлении удара нашей 21-й армии, форсировал Днепр, освободил города Рогачев и Жлобин и продолжал наступать в направлении Бобруйска. Обеспечивая это наступление с севера, в ночь с 13 на 14 июля между Новым Быховом и Тодиловичами форсировала Днепр и 102-я стрелковая дивизия, в том числе и полк, которым командовал Кипиани.

Захват Рогачева и Жлобина был одним из первых за войну наших успешных контрударов на Западном фронте. Впоследствии немцы, подбросив силы, остановили наступление нашей 21-й армии и окружили корпус Петровского. Петровский, ставший к тому времени генерал-лейтенантом, был убит в бою 17 августа 1941 года, а его корпус частью погиб, частью вырвался из окружения обратно за Днепр.

Я прочитал сейчас личное дело Петровского и целый ряд его приказов за июль, дающих представление об обстановке и о стиле его руководства корпусом. За этими приказами стоит человек строгий и справедливый, трезво оценивающий обстановку и в моменты успеха, и в моменты тяжелого положения. Из его приказов видно, какое значение он придавал взаимодействию пехоты и артиллерии, вопросам четкой организации управления и связи, работе тыла, эвакуации раненых.

В одном из его приказов говорится: «Полностью использовать все возможности... для борьбы с танками, для чего 45-мм пушки и полковые 76-мм орудия выдвигать вперед в качестве отдельных противотанковых орудий с задачей активной борьбы с танками. В отдельных случаях выдвигать 122- и 152-мм пушки». Петровский уже в июле 1941 года делал то, чему многие научились гораздо позже.

В приказе, отданном уже в тяжелой обстановке, сказано: «В результате прошедших боев части корпуса понесли потери и, кроме того, значительная часть бойцов застряла в тылах. Приказываю: в течение ночи на 20.7.41 г. из всех обозов изъять лишний рядовой и младший начсостав. Обратить его на укомплектование стрелковых рот. Ездовых оставить из расчета одного человека на две подводы. Пулеметы и винтовки передать на вооружение стрелковых рот, оставив в обозе винтовки из расчета одна на пять подвод».

А в общем, несмотря на обусловленный неравенством сил драматический исход этих боев, начавшихся взятием Жлобина и Рогачева, написанная когда-то, в феврале 1925 года, характеристика на Петровского, в то время еще командира полка, была зоркой и соответствовала действительности. «Обладает сильной волей, большой энергией, решительностью. В оперативной обстановке умело разбирается. Военное дело знает и любит его. Вполне соответствует должности».

В сохранившемся «Журнале боевых действий 102-й дивизии» есть данные о судьбе 467-го полка и его командира Кипиани.

В донесении за 21 июля сказано, что полк перешел в наступление и взял пленных 17-го пехотного немецкого полка.

В донесении за 22 июля в штаб корпуса сообщается, что связь с полком отсутствует, что полк продолжает вести борьбу в окружении, и содержится просьба о помощи танками.

23 июля командир дивизии посылает в штаб корпуса донесение, что 467-й полк, ведя бой в окружении и уничтожив до полутора батальонов противника, частично вышел из окружения, сосредоточился и приводит себя в порядок.

Судя по тому, что в этом же донесении сказано, что в командование полком вступил капитан Матвеев, полковник Кипиани, очевидно, к этому дню был уже или убит, или ранен.

Последняя запись в его личном деле – предвоенная: «Вывел полк на первое место в дивизии». Никаких других записей нет.

После журнальной публикации моего дневника я получил письмо из Грузии:

«...Я не умею выразить словами, что я чувствую. Журнал «Дружба народов», Ваши «Разные дни войны». Через 34 года после гибели мужа узнать о последних днях его жизни на фронте!

20 июня 1941 г. мы радостно отпраздновали 14-летие нашей свадьбы, а 22-го...

24-го, отмотилизовав свой полк (муж был командиром 467-го стр. полка и начальником гарнизона в Хороле Полтавской области), он уехал со своим полком на фронт. В последние минуты расставанья, потихоньку от мужа, чтобы хоть чем-то напомнить ему о себе в тяжелой фронтовой обстановке, я высыпала в чемодан все оставшиеся после нашего праздника конфеты и положила шоколадный набор, которым он и угощал Вас за завтраком 11.7.41 г.

Я с детьми уехала из Хорола уже тогда, когда в городе были немецкие танки. Все ждала известий о нем с фронта и не дождалась.

Через несколько дней, в тяжелых боях на Днепре, прикрыл отход наших частей, он был несколько раз ранен и умер, истекая кровью. Он не совершал героических подвигов, не освобождал наших городов, но он защищал каждую пядь нашей земли и жизни тысяч отступавших людей. А вспомнить о нем некому. Полк его разбит. И я никого из полка не могла найти. Даже место его гибели указано не точно. Знаете, чего хочется? Найти могилу, припасть к ней и остаться навсегда, как верный пес на могиле своего хозяина. Не могу! Не затихает острая боль утраты! Ненавижу немцев и буду их ненавидеть до конца.

Уважающая Вас
вдова полковника Ш. Г. Кипиани *Л. Кипиани*».

Что-то дрогнуло во мне, когда я прочел это письмо, за которым стояли тридцать четыре года неутихшего женского горя. Вот, стало быть, откуда, с четырнадцатой годовщины свадьбы, попала туда, в приднепровский лес, эта коробка шоколадного набора, которым с истинно грузинским радушием полковник Кипиани угощал нас, оказавшихся первыми и, должно быть, последними его гостями на войне. Есть что-то щемящее душу в этой маленькой горькой подробности.

Письмо это я получил в марте 1975 года и, в начале лета попав в Грузию, еще успел повидаться с прекрасной женщиной, которая его прислала, с Любовью Федоровной Кипиани. Говорю «успел», потому что сейчас и ее уже нет в живых. Вернувшись после долгого отсутствия в Москву, я увидел на столе телеграмму о ее смерти.

А рядом с этой телеграммой лежало давно дожидавшееся меня письмо из Красноярска от инвалида войны Федора Павловича Животова, одного из офицеров 102-й стрелковой дивизии, в состав которой входил полк Кипиани: «...Командир 467 с. п. полковник Кипиани умер на моих глазах. Будучи тяжело раненным (без обеих ног), он, пока был в памяти, отдавал боевые приказы капитану Матвеец. Держал и вел себя как истинный Герой Родины. Таких людей в бою встречаешь на редкость, и память о нем не умрет никогда. Спасти его жизнь было невозможно из-за большой потери крови, и его боевое сердце биться перестало. Погиб он в разгаре боя. Что характерно, это то, что, будучи без ног, он ни от кого не требовал его эвакуации в тыл, а требовал выполнения своих боевых приказов и не трогать его никуда! Вся эта трагедия проходила несколько минут, он никого к себе не допускал и говорил: я должен умереть на месте, но враг должен быть разгромлен. Мне довелось его захватить живым за несколько минут до смерти...»

Переслать это письмо вдове Кипиани я уже не мог. Было поздно...

Я пишу в дневнике, что утром 12-го нам посчастливилось проскочить по кратчайшей дороге Пропойск – Могилев за несколько часов до того, как немцы переправились через Днепр у Быхова и перерезали ее. На самом деле немцы переправились через Днепр у Быхова еще 10-го, двумя днями раньше. Но на дорогу Пропойск – Могилев, судя по их отчетным картам, они действительно вышли только 12-го.

Кстати, современный читатель, сколько бы он ни искал, не найдет на послевоенных картах Пропойска. В 1941 году город Пропойск Могилевской области существовал на картах и не раз фигурировал в донесениях, но летом 1944 года, во время разгрома в Белоруссии немецкой группы армий «Центр», освобожденный Пропойск был переименован в Славгород.

Наверно, в этом сыграли роль установившаяся к тому времени традиция называть отличившиеся части именами освобожденных ими городов и возникшая вдруг проблема: как наименовать дивизию, освободившую Пропойск?..

В дневнике я пишу, как меня удивило, что на шоссе Могилев – Орша, по эту сторону Днепра, оказались немецкие танки. На самом деле 12-го числа днем, когда мы оказались там, немецкие 10-я танковая и 29-я моторизованная дивизии своими передовыми частями прорвались уже на 50 километров к востоку от Днепра и перерезали железную дорогу Орша – Кричев. Развивая главный удар на северо-восток, к Смоленску, немцы в тот день, очевидно, еще не проявляли особого стремления поворачивать на юг, к Могилеву. Эпизод с немецкими танками, подходившими вдоль Оршанского шоссе к штабу дивизии, где мы оказались, носил, видимо, частный характер. Немцы просто прощупывали силу нашей обороны на этом направлении и, потеряв от огня артиллерии несколько танков, отошли. Дивизия, к штабу которой подходили эти танки, была 110-я стрелковая дивизия 13-й армии. Она входила в оборонявший Могилев 61-й стрелковый корпус генерала Бакунина, сражалась в этом районе

до 26 июля, а потом прорывалась из окружения. Встреченный нами в лесу на своем командном пункте командир 110-й дивизии Василий Андреевич Хлебцов за свои боевые действия получил два ордена еще в 41-м году, что бывало тогда не часто; в 1942 году после выхода из окружения вновь командовал дивизией, затем был заместителем командира кавалерийского корпуса. 7 мая 1942 года получил звание генерал-майора, а 25 мая погиб на Изюм-Барвенковском направлении Юго-Западного фронта.

Ничему не удивлявшийся полковник, которого мы встретили на шоссе, был Федор Трофимович Ковтунов, начальник оперативного отделения штаба 110-й дивизии. В последующие дни под Могилевом он командовал полком, был награжден орденом, 10 ноября оставался в окружении, вышел из него и воевал дальше, закончив войну в Восточной Пруссии генерал-майором, командиром 88-й стрелковой Витебской дивизии.

Воспоминания о мимолетной встрече в лесу под Могилевом оказались для меня впоследствии первым толчком к тому, чтобы написать «маленькую докторшу» Таню Овсянникову – одно из главных действующих лиц всех трех книг моего романа «Живые и мертвые».

Тогда, в июле 1941 года, вернувшись из-под Могилева, я написал очерк о встрече с этой женщиной-военврачом «Валя Тимофеева». Он был напечатан во фронтовой газете под моей фамилией, а в «Известиях» – под псевдонимом С. Константинов, потому что рядом шел другой мой фронтовой материал за собственной подписью.

Я считал, что эта женщина погибла. Может быть, это шло от общего ощущения тяжести обстановки под Могилевом, а может, оттого, что из всех людей, с которыми я столкнулся в ту поездку, мне потом за долгие годы довелось встретить лишь двух человек.

Готовя дневник к печати, я обнаружил, казалось, безнадежно потерянный старый блокнот, бывший со мной в могилевской поездке, и в нем свою тогдашнюю запись о встрече с женщиной-врачом. В виде исключения я полностью приведу ее. Она даст известное представление о том, как вообще первоначально во фронтовой обстановке велись записи, на основе которых в тех случаях, когда они сохранились, – я диктовал весной 1942 года свой дневник. Вот эта запись:

«443-й с. п. 53-й дивизии.

Начали нас бомбить в роще. Наши тылы полка. Справа и слева от нас были батареи.

Женщина, зубной врач, Валентина Владимировна Тимофеева, 23 года, вылезала из укрытия и доставала и перетаскивала раненых.

– У нас не было комплекта врачей, мне самому приходилось перевязывать, и я попросил: дайте хоть зубного. Вот и дали. Я сам, когда была сильная бомбежка, полз в щель, а она и перевязывает на открытом месте. Говорю: «Убьют!» – «Нет, – говорит, – пока не убили, надо работать», – а сама перевязывает.

– Они осветили нас ракетой. Потом ракета потухла. Я поползла, кричу: «Где вы?» Но поползла неверно, раненый кричит: «Я здесь, здесь!»

Я подползла, говорю: «Милый, как же вас?..» А он говорит: «Я поднялся, а тут ракета – и скосили». Шесть ран. Вижу, что безнадежный, но, чтобы ему легче было, перевязала грудь полотенцем. Он чувствует, что безнадежное положение, спрашивает: «Насмерть?» Я говорю: «Нет, что вы...» Тут и подполз немец. Я вынула наган и выстрелила. Он упал. Наверное, убила, потому что он потом бы меня сам застрелил. Я была на месте, и мелькали белые бинты... А потом раненого леж тащу и прошу его: «Милый, ну как-нибудь, ну еще шаг...» Он говорит: «Не могу». А я все же прошу. Тяжело, сумка тяжелая, но разве мне ее бросить? Все-таки дотащила.

Кружку 9-го осколком выбило из рук.

– Как приехали, всего раза три и пришлось открывать свой кабинет. Ни у кого зубы не болели. Я спрашиваю: «Что ж я буду делать?» Говорит начальник штаба: «Найдется». И правда, нашлось.

Рукава у гимнастерки завернуты. Правая рука натерта в кровь.

– Почему же вам форму не дали лучшую?

– А у меня есть своя, по росту, да разве на меня напасешься? Вся в крови была. С 8 марта 1940 года в армии.

– У меня лялька была, год десять месяцев, она сейчас умерла. Только жив сын четырех месяцев. С мамой сейчас. Мама говорит: «Воспитаю сына, только прогоните немцев». В военкомате спрашивают: «Ничего, что лялька?» Говорю: «Ничего», – ну и пошла в армию.

Кончила Саратовскую зубоврачебную школу в 1936 году.

– Теперь уже едва ли придется зубы лечить, буду работать по новой профессии.

Ее дразнит капитан: «Приказано вас при наступлении не брать». – «Это почему же?» – «Во-первых, женщина, да, во-вторых, такая маленькая».

Детское курносое лицо как у мальчишки. Сама уроженка Аткарска, жила в Саратове.

– Я в Берлине сама хочу быть. А то что же это, вы едете, а меня оставите?

– Сначала перевязывала тех, что были в тылу, а потом стали присылать по три машины из батальонов, ни одного раненого не оставила без перевязки.

Когда фотограф начинает снимать, просыпаются женские инстинкты: «Погодите, я же в беспорядке». – «Вам не надо зеркальца?» – «Ну, конечно же, надо!» Очень обрадовалась.

Ласковая, спокойная, а главное, никогда не падала духом».

В блокноте оказались сведения, о которых я забыл и которые могли бы помочь мне найти Тимофееву, если она жива: возраст, место рождения, название учебного заведения, дата ухода в армию.

В архиве среди сотен тысяч личных дел личного дела военврача Валентины Владимировны Тимофеевой не оказалось. Тогда я обратился к своим товарищам по профессии – саратовским журналистам. Сообщил все имевшиеся у меня данные, и в неправдоподобно быстрый срок, буквально через три дня Валентина Владимировна Тимофеева нашлась. Оказалось, что она живет в Риге со своим мужем, подполковником запаса, и с тремя детьми. Старший из них, сын Лев, которого она, уходя на войну, оставила четырехмесячным «лялькой», уже успел вернуться с действительной службы в армии.

Хочу привести часть письма, которое В. В. Тимофеева прислала в ответ на мое. Письмо лучше, чем мои слова, даст представление о последующей военной судьбе этой женщины, да, пожалуй, и о других схожих с нею судьбах многих других замечательных женщин, надевших в сорок первом году военную форму.

«...Отвечу на Ваши вопросы. Вы правы: в 41-м году о существовании очерка я, конечно, ничего не знала, да и не могла знать, так как шесть месяцев не имела связи с Большой землей (так мы называли ее тогда). Да и когда прочла, то интересовалась, жив ли С. Константинов, но так ничего и не пришлось узнать.

Теперь о себе. После встречи с Вами наша группа соединилась с остатками 110-й стрелковой дивизии. Командовал этой дивизией полковник

Хлебцов В. А. В общем, Вы правы, когда назвали это кашей, там действительно была каша.

В составе 110-й стрелковой дивизии пробовали прорвать кольцо окружения, но безуспешно. Полковник Хлебцов организовал около себя партизанский отряд и возглавил его. В составе этого отряда была и я в качестве врача-бойца. Отряд рос из остатков разрозненных частей и местных работников. У нас была задача простая и в то же время важная: не давать спокойно жить врагу на нашей земле и продвигаться на восток, что мы и делали. Трудно вспомнить мне те места, где были бои или стычки у нас с врагом.

Снабжались мы за счет местного населения и в основном за счет немцев. То отобьем обоз немецкий, то машину подобьем. Вот так и жили. Однажды огнем из пулеметов ребята подбили низко летевший самолет. Немецкий летчик приземлился на парашюте, его расстреляли, так как тыла у нас не было. А из парашюта я пошла ребятам рубашки, и они этим были очень довольны, ведь у нас не было смены белья, приходилось и об этом думать. В отряде больных не было, так как за этим я строго следила, при первой возможности старалась просушить, постирать белье и верхнюю одежду, следила, чтобы в отряде не было паразитов, для этого часто ребят осматривала и обязательно устраивала банные дни.

Местное население ненавидело врага и во всем нам помогало, и мы не чувствовали себя, что мы в тылу врага, мы были дома.

Люди рисковали своей жизнью, помогая нам, но, как говорят, в семье не без урода, так и у нас были случаи, когда староста пытался предупредить немцев и навести их на наш след. Расправа была одна: собаке собачья смерть.

В одном таком бою меня ранило – пулевое ранение правой ноги. Я вынуждена была жить в деревне, как будто бы Князевка Смоленской области, у крестьянина. Очень хорошая семья, не помню даже, как их звать, но им сердечно благодарна. Ребята из отряда меня навещали, а когда я поправилась, меня взяли в отряд. Продвигался наш отряд ночью и редко днем лесом. Вооружены были немецкими автоматами, были немецкие ручные пулеметы и даже был один наш пулемет «максим».

Однажды я пошла на связь в село, зашла к жене партизана, местного учителя (он был у нас в отряде и принес радиоприемник с питанием, что дало возможность слушать Москву). В это время в село въехало две машины с карателями.

Всех жителей выгнали на улицу, в том числе и меня. Построили в один ряд, и немец отсчитывал каждого десятого и убивал. Десятыми были не только взрослые, но и дети... Я была шестая. Наши, узнав о таком зверстве, перекрыли дороги из деревни и всех немцев уничтожили, не дали возможности даже слезть с машин.

7 ноября мы слушали речь Сталина на Красной площади, и позже нам население передало сброшенную с самолета газету, где была речь т. Сталина. Да, велика была вера у советских людей в этого человека!

Сплошной линии фронта не было, и наш отряд удачно вышел в район г. Тулы с небольшой разведывательной перестрелкой на соединение с нашими частями.

Нас так же построили, как Вы описываете в книге «Живые и мертвые», разоружили, сказали нам красивые слова и отправили в тыл, но вот как наши

добрались, я не знаю. Меня как медработника направили в резерв медсостава в г. Тулу. Я впервые за шесть месяцев увидела электрический свет, и это так на меня действовало, что это была для меня самая счастливая минута – я жива, все опять по-прежнему, жизнь идет...»

А Валентина Владимировна Тимофеева вспоминает в своем письме о командире 110-й дивизии полковнике Хлебцове. О его дальнейшей судьбе я уже сказал. Но, дополнительно роюсь в архиве, я обнаружил, что и полковник Хлебцов, в свою очередь, вспоминал о враче Тимофеевой в своей записке «О действиях в тылу фашистских оккупантов», написанной после соединения 1-го отряда с нашими частями.

В записке Хлебцова перечисляется, что было сделано его отрядом: произведено крушение четырех эшелонов в районах Орши, Кричева и Рославля, взорван железнодорожный мост на 4-м километре линии Рославль – Орша, пятьдесят девять раз порезана связь, в селе Кузьмичи сожжен самолет, захвачено три орудия с расчетами, уничтожены одна дрезина, 37 автомашин и 13 мотоциклов.

Хлебцов считает, что его отрядом за три месяца действий было убито 208 немцев, не считая погибших при крушении эшелонов. Из окружения Хлебцов вывел 161 человека, из них – 102 рядовых и младших командиров, 47 средних и старших командиров и политработников и 13 гражданских лиц.

Судя по списку сданного вооружения, отряд Хлебцова вышел хорошо вооруженным: только пулеметов в отряде было 18.

Я привожу эти данные из записки Хлебцова, составленной в присущем строевому командиру лаконичном стиле, чтобы на этом частном примере напомнить, какой урон нанесли немцам в их тылу люди из тех окруженных дивизий, которые по немецким штабным документам считались уже несуществующими.

Заговорив о судьбе Вали Тимофеевой, хочу остановиться на некоторых чертах истории той 53-й дивизии, в которой она сначала служила. В этой истории были разные страницы, в том числе тяжелые, и о них тоже необходимо сказать.

Я встретил Тимофееву в момент, когда их группа вышла из окружения в расположение другой дивизии. К этому времени 53-я дивизия оказалась как раз на острие удара, нанесенного немцами через Днепр на город Горки, который на немецкой карте за 12 июля показан уже захваченным частями 10-й танковой и 29-й моторизованной немецких дивизий.

Имевшая меньше половины штата военного времени, не располагавшая танками и не прикрытая авиацией, дивизия попала под сильный удар авиации, артиллерии и танков и была разбита. Такое случалось в 1941 году, и случалось с хорошо дравшимися впоследствии частями, хотя об этом в них, конечно, не любили потом вспоминать.

53-я дивизия прошла после этого большой боевой путь, дралась, защищая Москву, во время нашего контрнаступления брала Тарутино, участвовала во взятии Малоярославца и Медыни, потом, переброшенная на юг, форсировала Днепр и Буг, воевала в Румынии в период ликвидации яско-кишиневской группировки немцев, потом форсировала Тису и Дунай и, взяв город Дьер, пошла дальше, на Вену. Один из полков дивизии к концу войны был наименован Венским, а сама она была награждена орденами Красного Знамени и Суворова.

Так выглядит история дивизии, если брать ее целиком, с начала до конца. От первых дней, когда в отчаянном положении были мы, и до последних, когда в безнадежном положении оказалась вся сражавшаяся на Восточном фронте германская армия.

Если же проявить некоторую долю злопамятства, то следует добавить, что 10-я танковая и 29-я моторизованная дивизии немцев, нанешие тогда, в июле сорок первого года, на Днепре такой тяжкий удар нашей 53-й дивизии, закончили свое существование при следу-

ющих обстоятельствах: 29-я моторизованная дивизия была разбита и взята нами в плен под Сталинградом.

Весной 1943 года 10-я танковая (воевала на Восточном фронте до 1942 года) после тяжелых потерь была выведена на переформирование в Южную Францию, потом переброшена в Африку и в мае 1943 года сложила оружие перед англичанами.

Комиссаром 61-го стрелкового корпуса, о встрече с которым я упомянул в дневнике, был бригадный комиссар Иван Васильевич Воронов. Он погиб в бою между Могилевом и Чаусами, около деревни Мошок, во время одной из попыток прорваться из окружения. О его смерти впоследствии доложил в Москву командир корпуса генерал-майор Бакунин, которому удалось прорваться к своим во главе группы в сто сорок человек только в конце ноября. А место гибели Воронова, похороненного в братской могиле местными жителями, через много лет установили школьники-следопыты из Горбовичской средней школы Чаусского района. Погиб при выходе из окружения под Могилевом и заместитель Воронова полковой комиссар Турбинин, о котором я упоминал, не называя его фамилии.

Смотрю на фотографию Воронова в его личном деле, спокойное лицо кажется знакомым. Тогда, во время войны, я написал об этом человеке «немолодой». Так мне казалось в мои двадцать пять лет. Сейчас мне это уже не кажется: бригадному комиссару Воронову, когда он дрался под Могилевом и погиб там, было всего-навсего тридцать девять лет.

Командир 61-го корпуса генерал-майор Федор Алексеевич Бакунин в дневнике не упоминается. Я с ним не встречался. Я считаю своим долгом хотя бы здесь, в примечаниях, сказать об этом человеке.

Ф. А. Бакунин – в молодости шахтер, в Первую мировую войну унтер-офицер лейб-гвардии Семеновского полка, участник Октябрьской революции и Гражданской войны – до 1938 года семь лет прослужил командиром полка, был потом стремительно выдвинут и в течение года стал командиром корпуса.

К началу войны Бакунин командовал своим 61-м корпусом уже больше двух лет и в первое лето войны вместе со своими подчиненными до дна испил горькую чашу боев в окружении, придя из него, был назначен начальником курса Академии имени Фрунзе, но выпросился снова на фронт, воевал в Крыму, освобождал Севастополь и закончил войну, командуя корпусом в Прибалтике. Вот как сам Бакунин в письме, присланном в ответ на просьбу, говорит о боях под Могилевом: «15 и 16 июля войска 61-го стрелкового корпуса остались в окружении. 16 июля наши войска оставили Кричев, Смоленск. Таким образом, корпус оказался в глубоком тылу врага.

16 июля я получил короткую радиogramму, содержание которой: «Бакунину. Приказ Верховного Главнокомандующего – Могилев сделать неприступной крепостью!»

Бой в окружении – самый тяжелый бой. Окруженные войска должны или сдаваться на милость победителя, или драться до последнего.

Я понял приказ так: надо возможно дольше на этом рубеже сдерживать вражеские войска, с тем чтобы дать возможность нашим войскам сосредоточить свои силы для решительного перехода в наступление».

К тому, как в свете именно такого понимания приказа ожесточенно, до последней возможности сражались под Могилевом части 61-го корпуса, я буду еще не раз возвращаться в связи с различными людскими судьбами.

Глава пятая

...Приехав в штаб 172-й дивизии, мы познакомились с ее комиссаром, полковым комиссаром Черниченко, довольно угрюмым, неразговорчивым, но деловым человеком. Таким он, по крайней мере, мне показался тогда. Он рассказал нам, что лучше всего у них в дивизии дерется полк Кутепова, занимающий вместе с другим полком позиции на том берегу Днепра и обороняющий Могилев. Кроме того, у них происходили разные интересные события в разведбате, в который можно будет добраться утром. Мы, посоветовавшись, решили разделиться. Одним остаться здесь и утром пойти поговорить с разведчиками, другим ехать в полк – тоже утром.

– Утром? – переспросил Черниченко. – Утром в этот полк не проедете. Надо ехать сейчас, ночью. В светлое время до него не доберетесь.

Мы уже разделились до этого, и теперь ехать в полк ночью выпало мне и Трошкину. Пока Боровков, не любивший ночной езды, со скорбным видом заливал в машину бензин, мы стали свидетелями разговора комиссара дивизии с начальником местного партизанского отряда. Это был инженер какого-то из здешних заводов, белокурый красивый парень в перепоясанной ремнем кожанке, с гранатами и винтовкой. Ему предстояло оставаться здесь в случае прихода немцев, а пока что он сидел на торфяных болотах и вылавливал там немецких ракетчиков. Он говорил комиссару дивизии, что в то время, как население уходит и угоняет скот, в нескольких окрестных деревнях кулаки, вернувшиеся недавно из ссылки после раскулачивания, воруют с лесопилки лес, по его мнению, явно ожидая прихода немцев.

– Ну, а вы что с ними делаете? – жестко спросил комиссар.

Меня поразило холодное и беспощадное выражение его лица.

– Мы пока ничего, – сказал инженер.

– Пока? Что пока? Пока немцы не придут? Немцы придут, вы уже ничего не сделаете. Надо сейчас забрать эту заведомую сволочь и выселить ее в тыл. Это же наши явные и заклятые враги. Они это даже сами перестали скрывать. Какие вам еще нужны законные основания?

Конца разговора я не дослушал. Трошкин, узнавший, что в полку Кутепова подбито и захвачено много немецких танков, торопил меня. Он еще в самом начале поездки сказал, что не вернется, пока не снимет разбитые немецкие танки. По газетным сообщениям, число их давно перешло за тысячу, а снимков пока не было. Жгли и подбивали их много, но при отступлении они неизменно оставались на территории, занятой немцами. Мы переехали через Могилевский мост и проехали ночной, пустынный, молчаливый Могилев. У одного из домов стоял грузовик, из которого тихо одни за другими выносили носилки с ранеными. В городе чувствовался железный порядок. Не болталось никого лишнего; на перекрестках у орудий, не отходя от них, накрывшись плащ-палатками, дремали орудийные расчеты. Все делалось тихо. Тихо проверяли пропуска. Тихо показывали дорогу. С нами ехал проводник из политотдела, без которого мы, конечно, никогда не нашли бы ночью полковника Кутепова. Сначала мы остановились на окраине Могилева у каких-то темных домов, в одном из которых расположилась оперативная группа дивизии. Наш провожатый зашел туда, узнал, на прежнем ли месте находится штаб полковника Кутепова, и мы поехали дальше за Могилев.

На несчастье, наш проводник предупредил Боровкова, что кругом минировано и надо ехать как можно осторожней, точно придерживаясь его указаний. Но у Боровкова были собственные понятия об опасности мин. Как потом выяснилось, он в каком-то сборнике о финской войне прочел рассказ, где танк спасся от мины, проскочив через нее на большой скорости, так что она разорвалась сзади. Руководствуясь этими соображениями, он, к испугу нашего провожатого, гнал всю и то и дело, не успевая повернуть там, где следовало, давал

задом и разворачивался. Словом, если там кругом было действительно минировано, то нам в эту ночь сильно повезло.

На пятом или шестом километре за Могилевом мы свернули и въехали в какие-то заросли, где нас сейчас же задержали. Обрадовал порядок в Могилеве, обрадовало и то, что, как только мы свернули с дороги, нас задержали. Очевидно, в этом полку ночью никуда нельзя было пробраться, не наткнувшись на патрульных.

Всех троих нас под конвоем доставили в штаб полка. Из окопа поднялся очень высокий человек и спросил, кто мы такие. Мы сказали, что корреспонденты. Было так темно, что лиц невозможно было разглядеть.

– Какие корреспонденты? – закричал он. – Какие корреспонденты могут быть здесь в два часа ночи? Кто ездит ко мне в два часа ночи? Кто вас послал? Вот я вас сейчас положу на землю, и будете лежать до рассвета. Я не знаю ваших личностей.

Мы сказали, что нас послал к нему комиссар дивизии.

– А я вот положу вас до рассвета и доложу утром комиссару, чтобы он не присылал мне по ночам незнакомых людей в распоряжение полка.

Оробевший поначалу провожатый наконец подал голос:

– Товарищ полковник, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы ж меня знаете.

– Да, вас я знаю, – сказал полковник. – Знаю. Только поэтому и не положу их до рассвета. Вы сами посудите, – вдруг смягчившись, обратился он к нам. – Сами посудите, товарищи корреспонденты. Знаете, какое положение? Приходится быть строгим. Мне уже надоело, что кругом все диверсанты, диверсанты. Я не желаю, чтобы в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Не признаю их. Если охранение несете правильно, никаких диверсантов быть не может. Пожалуйте в землянку, там ваши документы проверят, а потом поговорим.

После того как в землянке проверили наши документы, мы снова вышли на воздух. Ночь была холодная. Даже когда полковник говорил с нами сердитым голосом, в манере его говорить было что-то привлекательное. А сейчас он окончательно сменил гнев на милость и стал рассказывать нам о только что закончившемся бое, в котором он со своим полком уничтожил тридцать девять немецких танков. Он рассказывал об этом с мальчишеским задором:

– Вот говорят: танки, танки. А мы их бьем. Да! И будем бить. Утром сами посмотрите. У меня тут двадцать километров окопов и ходов сообщения нарыто. Это точно. Если пехота решила не уходить и закопалась, то никакие танки с ней ничего не смогут сделать, можете мне поверить. Вот завтра, наверное, они повторяют то же самое. И мы то же самое повторим. Сами увидите. Вот один стоит, пожалуйста. – Он показал на темное пятно, видневшееся метрах в двухстах от его командного пункта. – Вот там их танк стоит. Вот куда дошел, а все-таки ничего у них не вышло.

Около часа он рассказывал о том, как трудно было сохранить боевой дух в полку, не дать прийти в расхлябанное состояние, когда его полк оседлал это шоссе и в течение десяти дней мимо полка проходили с запада на восток сотни и тысячи окруженцев – кто с оружием, кто без оружия. Пропуская их в тыл, надо было не дать упасть боевому духу полка, на глазах у которого шли эти тысячи людей.

– Ничего, не дали, – заключил он. – Вчерашний бой служит тому доказательством. Ложитесь спать здесь, прямо возле окопа. Если пулеметный огонь будет, спите. А если артиллерия начнет бить, тогда милости прошу вниз, в окопы. Или ко мне в землянку. А я обойду посты. Извините.

Мы с Трошкиным легли и сразу заснули. Спали, наверное, минут пятнадцать. Потом с одной стороны началась ожесточенная ружейно-пулеметная трескотня. Мы продолжали лежать. Так устали за день, что лень было двигаться. Трескотня то утихала, то снова усили-

валась, потом стала сплошной и слышалась уже не слева, там, где началась, а справа. Трошкин толкнул меня в бок.

– Странно. Стрельба началась у ног, а сейчас слышится у головы.

Потом стрельба стихла. Понемногу начало светать. Как потом выяснилось, немцы пробова­ли ночью прощупать наше расположение и производили разведку боем.

При утреннем свете мы наконец увидели нашего ночного знакомого полковника Кутепова. Это был высокий худой человек с усталым лицом, с ласковыми не то голубыми, не то серыми глазами и доброй улыбкой. Старый служака, прапорщик военного времени в Первую мировую войну, настоящий солдат, полковник Кутепов как-то сразу стал дорог моему сердцу.

Мы рассказали ему, что когда проезжали через мост, то не заметили там ни одной счетверенной установки и ни одной зенитки. Кутепов усмехнулся.

– Во-первых, если бы вы, проезжая через мост, сразу заметили пулеметы и зенитки, то это значило бы, что они плохо поставлены. А во-вторых... – Тон, которым он сказал это свое «во-вторых», я, наверное, запомню на всю жизнь. – Во-вторых, они действительно там не стоят. Зачем нам этот мост?

– Как «зачем»? А если придется через него обратно?

– Не придется, – сказал Кутепов. – Мы так уж решили тут между собой: что бы там кругом ни было, кто бы там ни наступал, а мы стоим вот тут, у Могилева, и будем стоять, пока живы. Вы ходите, посмотрите, сколько накопано. Какие окопы, блиндажи какие! Разве их можно оставить? Не для того солдаты роют укрепления, чтобы оставлять их. Истина-то простая, старая, а вот забывают ее у нас. Роют, роют. А мы вот нарыли и не оставим. А до других нам дела нет.

Как я потом понял, Кутепов, очевидно, уже знал то, чего мы еще не знали: что слева и справа от Могилева немцы форсировали Днепр и что ему со своим полком придется остаться в окружении. Но у него была гордость солдата, не желавшего знать и не желавшего верить, что рядом с ним какие-то другие части плохо дерутся. Он хорошо закопался, его полк хорошо дрался и будет хорошо драться. Он знал это и считал, что и другие должны делать так же. А если они не делают так же, как он, то он с этим не желает считаться. Он желает думать, что вся армия дерется так же, как его полк. А если это не так, то он готов погибнуть. И из-за того, что другие плохо дерутся, менять своего поведения не будет.

И слова Кутепова, а еще больше то настроение, которое я почувствовал за его словами, мне много раз вспоминались в последующие месяцы, когда то в одном, то в другом месте фронта я слышал, как люди, рассказывая о своих неудачах, говорили: «Мы бы стояли, да вот сосед справа...», «Мы бы не отошли, да вот сосед слева...» Может быть, формально они и были правы, но какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что правы не они, а полковник Кутепов.

– Как вы думаете, – спросил я у полковника, – что сегодня будет происходить перед фронтом вашего полка?

Он пожал плечами.

– Одно из двух: или, разозлившись на вчерашнюю неудачу, немцы повторят свои атаки и будет такая же горячка, как вчера, или решат попробовать там, где послабее. И тогда у нас будет полная тишина. А в общем, советую: если хотите снять эти подбитые танки, пока можно, идите к ним.

Кутепов познакомил нас с комиссаром полка Зобниным, и мы пошли в батальон. По дороге туда видели всю систему обороны полка. Вроде ничего особенного, и все же прекрасные окопы полного профиля, много ходов сообщения, столько, что никаким артиллерийским огнем нельзя было полностью прервать управление полком и оторвать батальоны один от другого. Командные пункты батальонов и даже рот были размещены в таких блиндажах, что вчера немецкий танк выпустил по одному из них полсотни снарядов и все-таки не смог

разбить его. Вся система обороны давала почувствовать, что люди не поленились, закопались так, чтобы не уходить отсюда, несмотря ни на что. Так зарывалась японская пехота на Халхин-Голе, трудолюбиво, упорно, с твердым решением умереть, но не уйти. Передний край обороны полка там, где мы вышли к нему, тянулся вдоль лесной опушки; лес был низкорослый, но зато густой. Впереди расстиралось ржаное поле, а за ним шел большой лес. Там были немцы, и отсюда они вчера вели атаки. Слева железнодорожное полотно, за ним пустошь, за ней шоссе, а дорога. И железная дорога, и шоссе шли перпендикулярно позициям полка. Впереди, на ржаном поле, виднелись окопчики боевого охранения.

Мы зашли на командный пункт батальона. Командир батальона капитан Гаврюшин был человек лет тридцати, уже два или три дня не бритый, с усталыми глазами и свалывшимися под фуражкой волосами. На лице его было странное выражение одинаковой готовности еще сутки вести бой, говорить и действовать и в то же время готовность уснуть в любую секунду. Перед тем как заснять Гаврюшина, Трошкин заставил его перепопоясаться портупеей, надеть через плечо автомат, а вместо фуражки каску. Вся эта амуниция удивительно не шла капитану, как она обычно не идет людям, сидящим на передовой и каждый день глядящим в глаза смерти... Мы сказали Гаврюшину, что, пока затишье, хотим заснять танки, видневшиеся невдалеке перед передним краем батальона. Отсюда была видна только часть сожженных танков. Еще несколько танков, как сказал нам Гаврюшин, было пониже, в ложине, метрах в пятидесяти – ста от остальных; отсюда их не было видно.

– Затишье? – с сомнением переспросил нас Гаврюшин. – Ах, да, да, затишье. Но ведь они стоят за нашим боевым охранением. Там, во ржи, могут немцы сидеть, автоматчики. Могут из лесу стрелять, а могут отсюда, из ржи.

Но Трошкин повторил ему, что приехал снять танки и есть ли во ржи автоматчики или нет – его не интересует. Он горячился, потому что в эту поездку с самого начала был просто одержим идеей во что бы то ни стало снять разбитые немецкие танки.

– Ну что же, – сказал Гаврюшин, – тогда я сейчас пошлю вперед людей, пусть заползут в рожь и залягут впереди танков на всякий случай. А вы пойдете потом, минут через десять.

Он вызвал лейтенанта, который должен был проводить Трошкина к танкам.

– А вы? – спросил он меня – Вам тоже нужно снимать?

Я ответил, что нет, мне нужно только поговорить с людьми.

– Тогда пойдем с вами в роту Хоршева, – сказал Гаврюшин. – А ваш товарищ потом тоже подойдет туда к нам.

Я был в душе рад этому предложению, потому что сначала у меня не возникло никакого желания идти вперед и присутствовать при том, как Трошкин будет на виду у немцев снимать танки. Но когда Трошкин с лейтенантом уже ушли, мне тоже вдруг захотелось посмотреть поближе на эти танки. Я сказал об этом Гаврюшину, и мы пошли с ним вместе по ходу сообщения вслед за Трошкиным. Ход сообщения кончился у окопчиков боевого охранения, танки теперь были невдалеке – метрах в двухстах. Здесь, в этом месте, их было семь, и они стояли очень близко один от другого.

Мы вылезли из хода сообщения и пошли по полю. Сначала все низко пригибались, и когда подошли к танкам, то Трошкин их тоже сначала снимал, сидя на корточках. Но потом он нашел в одном из танков немецкий флаг и, заставив красноармейцев залезть на танк, снимал их на танке, рядом с танком, с флагом и без флага, вообще окончательно обнаглел.

Немцы не стреляли. Я не жалел, что пошел. У меня было мстительное чувство. Я был рад видеть наконец эти разбитые, развороченные немецкие машины, чувствовать, что вот здесь в них попадали наши снаряды...

Чтобы немцы не утащили ночью танки, они были подорваны толком, и часть содержимого машин была разбросана кругом по полю. В числе прочего барахла во ржи валялась целая штука коричневого сукна. А рядом с нею дамские туфли-лакирашки и белье.

Трошкин снял это, а я потом описал. Кажется, это был один из первых документов о мародерстве немцев.

Закончив съемку, Трошкин отпросился в лощинку к другой группе танков. Он хотел заснять еще и их. А я пошел с капитаном Гаврюшиным в роту Хоршева.

Хоршев был еще совсем молодой, в сбитой набок пилотке, такой молодой, что было странно, что вчера он тут дрался до последнего патрона и потерял половину роты. Чтобы добраться до него, пришлось перейти через разрушенное железнодорожное полотно, мимо наполовину снесенной железнодорожной будки. В пристройке к этой будке продолжал жить старик сторож. Хоршев вчера после боя подарил ему мундир немецкого лейтенанта, старик спорол с него погончики и сегодня щеголял в этом мундире.

Сидя на траве и спустив ноги в окопчик, мы с Хоршевым жевали хлеб и разговаривали о вчерашнем бое. Через полчаса пришли разведчики, таща несколько немецких велосипедов. Два часа назад эти велосипеды бросила на шоссе немецкая разведка. Ее обстреляли, и она, оставив двух убитых, бежала в лес, бросив велосипеды.

Было по-прежнему тихо. Вдруг раздалось несколько пулеметных очередей. Впереди над полем крутился «мессершмитт».

Когда вернулся Трошкин, то оказалось, что эта стрельба имела к нему прямое отношение. Он начал снимать вторую группу танков, и над ним появился этот «мессершмитт» и начал пулеметный обстрел с бреющего полета. Трошкин залез под немецкий танк и отсиживался там, пока немецкому летчику не надоело и он не улетел.

Весь день с самого утра мы ходили по позициям. По-прежнему было тихо. Вернулись на командный пункт полка. Трошкин заснял командира, комиссара и начальника штаба. Все они просили его отпечатать снимки и послать их не сюда, к ним, в военный городок их женам, кажется, в Тулу. Не знаю, сделал ли это Трошкин, но, помню, у меня было тогда такое чувство, что этих людей, остающихся здесь, под Могилевом, я никогда больше не увижу и что они, не говоря об этом ни слова, даже не намекая, в сущности, просят нас послать их женам последние фотографии.

Когда мы прощались с Кутеповым, у меня было грустное чувство, хотя внешне он держался весело, прощаясь, усталое шутил и, пожимая мне руку, говорил: «До следующей встречи». Из штаба полка мы заехали к артиллеристам. Начальник штаба артиллерийского полка оказался халхингольцем. Он служил там в дивизионе знаменитого на Халхин-Голе капитана Рыбина. Неожиданно угостив пивом, он повел нас на наблюдательный пункт, который размещался у него на башне элеватора. Вчера немцы вклепили в башню снаряд, один из пролетов был разрушен, но оглушенный вчера наблюдатель сегодня залез еще выше и наблюдал с самого верхнего пролета. Немцы больше не били по элеватору. Наверно, после прямого попадания считали, что там никого нет.

Мы вернулись из полка, так и не услышав за весь день ни одного орудийного выстрела. Такая тишина начинала даже пугать. Теперь, когда мы проезжали через Могилев обратно при свете, было особенно заметно, как он пуст. Лишь иногда по улицам проходил патруль. Кроме этих патрулей и орудийных расчетов на перекрестках, в городе, казалось, никого нет. Вечером, заехав в штаб дивизии за Кригером и Белявским, мы вместе тронулись в штаб корпуса, имея намерение заехать потом, по дороге, в штаб 13-й армии в Чаусы, а оттуда возвращаться с материалом в редакцию...

А теперь несколько дополнений и размышлений, связанных с этими могилевскими страницами моего дневника.

Входившая в 61-й корпус 172-я стрелковая дивизия, в штабе которой мы были, прежде чем поехать в полк Кутепова, обороняла непосредственно Могилев и вынесла на себе главную тяжесть боев за город.

Комиссар дивизии Леонтий Константинович Черниченко, о котором идет речь в моем дневнике, находился в Могилеве до последних дней его обороны, был ранен, попал в плен и прошел там через много тяжелых испытаний.

Командира дивизии Михаила Тимофеевича Романова, непосредственно руководившего обороной Могилева в те дни, мне встретить не удалось. Судя по его личному делу, сохранившемуся в архиве, это был превосходно подготовленный командир дивизии, медленно, но верно поднимавшийся к этой должности по долгой служебной лестнице и имевший отличные аттестации за все годы своей службы. В боях за Могилев он с лихвой подтвердил все довоенные аттестации. Об этом можно судить буквально по всем воспоминаниям о нем. В личном деле генерала Романова написано, что он пропал без вести. А все воспоминания сходятся на двух несомненных фактах, что Романов во главе своей дивизии до конца оборонял Могилев и что во время попытки прорыва из окружения он был тяжело ранен и после этого погиб.

С годами к воспоминаниям прибавлялись документы.

Еще давно, лет десять назад, Черниченко в беседе с маршалом Еременко вспоминал, что в фашистском плену, зимой сорок первого – сорок второго года, видел какой-то немецкий журнал со снимком генерала Романова в гражданской одежде и с надписью: «Генерал-майор Романов, командир 172-й стрелковой дивизии, как руководитель партизанского движения, задержан в городе Борисове и повешен».

Журнал этот в конце концов был разыскан, и взятый из него снимок был воспроизведен белорусскими кинематографистами в документальном фильме «Могилев. Дни и ночи мужества».

Текст к этому снимку в немецком журнале в русском переводе звучит так: «...В одной из советских деревень удалось захватить в плен большевистского генерал-майора Романова. Он был командиром 172-й советской дивизии, но в конце концов, сняв военную форму и переодевшись в гражданское платье, занялся организацией партизанской войны...»

Так погиб генерал Романов.

Когда я был в Могилеве и видел там в центре города в сквере памятник генералу Лазаренко, погибшему при освобождении Могилева в 1944 году, я подумал, что рядом с этим памятником не хватает другого – генералу Романову, в 1941 году сделавшему все, что было в человеческих силах, чтобы не отдать город в руки немцев. Не сомневаюсь, что в конце концов так оно и будет. В последнем письме, полученном мною от могилевских журналистов, говорится, что решение поставить этот памятник уже принято.

К командиру 388-го стрелкового полка 172-й дивизии полковнику Кутепову мы приехали вечером 13 июля и уехали из этого полка на следующий день, 14-го. Срок небольшой, меньше суток. Но это пребывание в полку Кутепова по многим причинам запомнилось мне на всю жизнь, и мне хочется здесь рассказать и о Кутепове, и о других людях его полка то небольшое, что удалось дополнительно узнать.

Пишу это, а передо мной лежат переснятые из личных дел старые, предвоенные фотографии командира полка Семена Федоровича Кутепова, комиссара Василия Николаевича Зобнина, начальника штаба Сергея Евгеньевича Плотникова, командира батальона Дмитрия Степановича Гаврюшина, командира роты Михаила Васильевича Хоршева...

Самому старшему из них – Кутепову – было тогда, в сорок первом году, сорок пять лет, а всем остальным гораздо меньше. Гаврюшину – тридцать шесть, Плотникову – тридцать один, Зобнину – двадцать восемь, Хоршеву – двадцать три.

* * *

Места, где ты был тридцать лет назад, иногда совершенно не узнаешь, а иногда узнаешь сразу. Приехав в Могилев и бродя по местам боев сорок первого года, я совершенно точно вспомнил, где что было. Узнал участок обороны между железной дорогой и шоссе, который занимал батальон Гаврюшина, узнал поле, на котором стояли разбитые немецкие танки, узнал и то место, где мы сидели с Хоршевым и где теперь стоит у полотна не та, прежняя, разбитая снарядами, а другая и уже тоже не новая железнодорожная будка.

Неподалеку при дороге стоит теперь обелиск с надписью, говорящей о том, как 388-й стрелковый полк в июле 1941 года беспримерной стойкостью отбивал здесь атаки немецких танков. Имен погибших на обелиске нет, да в данном случае вряд ли и возможно было написать их все; 388-й полк лег здесь, в боях за Могилев, почти целиком. Но я хочу, больше того, считаю своим долгом назвать хотя бы некоторые имена из 388-го и сражавшегося вместе с ним 340-го артиллерийского полков, не упомянутые в дневнике, но сохранившиеся в моем фронтовом блокноте.

Вот их фамилии и должности, а в некоторых случаях и имена:

388-й стрелковый полк

Смирнов – сержант

Иван Дмитриевич Грошев – красноармеец

Семин – красноармеец

Бондарь – связист, красноармеец

Громов – связист

Медников – старший лейтенант, адъютант батальона

Орешин – младший политрук

Степанов – младший сержант

Сушков – младший сержант

Тарасевич Савва Михайлович – сержант

Давыдов – капитан

340-й артиллерийский полк

Пашун – заместитель политрука

Прохоров – младший политрук

Аксенов – лейтенант, командир 45-мм орудия

Капустин – младший лейтенант

Орлов Борис Михайлович – капитан, начальник связи полка

Котов, Котиков – связисты

Козловский – сержант, радист

Слепков – радист

Антонович Петр Сергеевич – капитан, начальник штаба полка

Возгрин М.Г. – лейтенант, командир батареи

Гришин П.Г. – старший сержант, командир орудия.

Само упоминание в блокноте всех этих фамилий говорит, что каждый из этих людей совершил тогда в боях под Могилевом нечто такое, что, по мнению их прямых начальников, и заслуживало быть отмеченным в печати.

Я не упоминаю в дневнике о встрече с командиром 340-го артиллерийского полка полковником Иваном Сергеевичем Мазаловым, но в блокноте есть короткая запись разго-

вора с ним: «Пока есть снаряды, немцам в Могилеве не быть. Пехота довольна. Заявки пехоты выполняем за редким исключением, как, например, вчера: идут два танка и два взвода пехоты. Я говорю: по двум танкам портить снаряды не буду. Если и прорвутся, не будет беды, бутылками забросаем. А по пехоте дадим. И дали шрапнель!»

Я разыскал личное дело полковника Мазалова, но в нем, как и во многих других личных делах, лишь довоенные записи. Видимо, он погиб. Обращает на себя внимание фраза, записанная в одной из аттестаций: «К службе относится с исключительной добросовестностью, обладает огромной силой воли». Только одного из людей 388-го стрелкового полка, чьи лица я вижу сейчас перед собой на старых фотографиях, я встретил еще раз после Могилева.

В июне 1945 года, вернувшись из армии в Москву, я нашел пришедшее без меня еще зимой, во время войны, письмо:

«...Ответ хочу получить для того, чтобы после, если останусь в живых, увидеться с вами и дать материал как писателю и вспомнить тех героев тяжелых июльских дней, которые всю тяжесть первых ударов выносили на своих плечах. Это ваши слова. А их надо вспомнить, они это перед Родиной заслужили!

Пишет вам тот командир батальона, у которого вы с Трошкиным были в гостях на поле боя у Могилева – июль 1941 года. А за это время участников этих боев не встречал никого. Да и случайно остался в живых. Пришлось много пережить. Когда встретимся, то расскажу. Все же я не теряю надежды с вами увидеться. В настоящее время я на фронте, но состояние здоровья не дает возможности быть здесь. Хотят откомандировать, так что ответ на это письмо пришлите домой, и при первой возможности я вас проведаю. Привет Трошкину, если он в живых.

17.1 – 45.

С комприветом
капитан *Гаврюшин*».

Передавать привет Трошкину было поздно – он к тому времени погиб, я написал об этом Гаврюшину, приглашая его приехать. Но увидеться нам удалось не сразу: вернувшись с войны, он долго лежал по госпиталям, и я встретил его только в 1947 году тяжело больным человеком. Гаврюшин горько переживал свою безнадежную инвалидность, думая при этом не столько о себе, сколько о тех, кому приходилось о нем заботиться. Именно об этом он писал мне в своем последнем письме:

«...Жалею, почему меня не убило. Лежал бы спокойно, не заставлял бы людей думать обо мне. А лежал бы под словами:

Не плачьте над трупами павших бойцов,
Не скверните их доблесть слезами,
А встаньте и произнесите:
«Тише, листья, не шумите,
Наших товарищей не будите.
Спите спокойным сном
Мы за вас отомстим...»

Больше писем не было. Не было ответа и на мои письма...

Я после долгого перерыва еще раз написал по сохранившемуся у меня старому адресу, но письмо снова осталось без ответа. Пришлось обратиться к розыскам в архиве, и там, найдя личное дело Гаврюшина, я увидел в нем последнюю запись: «Умер 7 мая 1953 года».

В личном деле есть много подробностей, рисующих и облик и судьбу этого человека. Москвич, сын рабочего, Гаврюшин рос без отца, убитого в 1905 году во время стачки. Тринадцатилетним мальчиком, оказавшись вместе с матерью в Бессарабии, он вступил в отряд Котовского и был контужен во время боев под Бендерами. В 1924 году вступил в комсомол, в 1930-м – в партию. В 1928 году пошел в армию. Кончил Киевскую пехотную школу и с октября 1939 года находился в той должности, в какой я его застал на фронте, командиром батальона 388-го стрелкового полка. «В обстановке разбирается быстро и верно. Волевой, требовательный командир», – писал в своей аттестации о нем в октябре 1940 года командир полка Кутепов и добавлял: «Физически здоров, но нуждается в лечении по поводу невроза». Очевидно, невроз был последствием той давней контузии в детстве, она напоминала о себе.

В деле подшита записка Гаврюшина, рассказывающая о том, как он воевал и выходил из окружения. Приведу некоторые места из нее:

«...Ведя 14 суток непрерывного боя, я был контужен, но остался в строю, после чего был ранен в руку и ногу. 24 июля положен в госпиталь в Могилев. 26 июля город был взят фашистами и госпиталь не эвакуирован, потому что были в окружении. 28 июля я с бойцами своего батальона из госпиталя бежал. Переодевшись у одной из жительниц города, мы тронулись в путь к нашим войскам. Шли мы под видом заключенных – якобы работали на аэродроме и при бомбежке нас поранило. На пятые сутки на линии фронта фашисты нас задержали. Продержав трое суток, отправили в Смоленск в один из госпиталей... Пробыв там трое суток, сделав соответствующую разведку, бежали из этого госпиталя и дней через 15 опять достигли линии фронта в районе Шмакова, где нас опять задержали. Продержав 5 суток голодными, посадили на машины и повезли в направлении Смоленска. Догнав группу наших пленных, сбросили нас с машин, присоединили к колонне и погнали. Голод и боли в ранах не давали мне возможности идти наравне со здоровыми, и я отставал, фашистский патруль все время подгонял меня прикладами в спину... Переночевав, собравшись с силами, под утро мы бежали. Прошло несколько суток. Пришли в поселок Стодолище и наткнулись на нашего врача. Попросили его сделать перевязки. Он вскрыл наши раны – раны уже загноились и черви завелись...» Далее Гаврюшин рассказывает о том, как он лечился, скрываясь в этом поселке Стодолище, и как один из жителей, «некто Жуков», подал на него заявление в фашистскую комендатуру, что он коммунист и командир. Но Гаврюшина успели предупредить. «При помощи местных жителей я оделся, потому что был наг, а на дворе октябрь, и решил попытаться еще раз пройти к своим, что мне и удалось. 6 октября 1941 г. я пришел в город Ефремов Тульской области на фронт 3-й армии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-лейтенант Крейзер, мой бывший командир дивизии. Из Ефремова меня направили на лечение...»

К этому надо добавить, что, получив вторую степень годности, капитан Гаврюшин все же добился отправки на фронт и служил там офицером связи в 63-м стрелковом корпусе. Но довоевать до конца войны ему не удалось. Сказались ранения и контузия, он тяжело нервно заболел и был отправлен в резерв по состоянию здоровья.

Так сложилась судьба капитана Гаврюшина. Во всех других разысканных мною личных делах, кроме дела Гаврюшина, все записи одинаково обрываются на 1941 годе, на последних довоенных служебных характеристиках...

Довоенная служебная характеристика начальника штаба 88-го полка капитана Сергея Евгеньевича Плотникова: «Работает начальником штаба батальона. С работой справляется хорошо. Штабную работу знает хорошо и любит ее. Командир полка полковник Крейзер».

Документ, подписанный 6 июня 1941 года: «Направляется в Ваше распоряжение батальонный комиссар Зобнин Василий Николаевич на должность заместителя командира 388-го стрелкового полка по политической части. К месту нового назначения прибыть 10 июня сего года. Об исполнении донести». Личное дело лейтенанта Хоршева. На фотографии бритоголовый молоденький курсантик. Коротенькое личное дело, в котором только и указывается «нет», «нет», «не был», «не состоял», «не проживал»... 23 февраля 1939 года приносил военную присягу. И дальше одна-единственная характеристика: «Требователен, дисциплинирован, по тактической подготовке «хорошо», по огневой подготовке «хорошо». Может быть использован командиром взвода с присвоением военного звания лейтенант».

Вот и все, что есть в деле лейтенанта Хоршева Михаила Васильевича. А дальше были война, Могилев, бои, в которых он, как и другие его сослуживцы, оправдал свою предвоенную аттестацию. Оправдал и погиб. Очевидно, так.

Личное дело командира 388-го стрелкового полка Семена Федоровича Кутепова большое, на многих листах...

Недолгая встреча с Кутеповым для меня была одной из самых значительных за годы войны. В моей памяти Кутепов – человек, который, останься он жив там, под Могилевом, был бы способен потом на очень многое.

Семен Федорович Кутепов, происходивший из крестьян Тульской губернии, окончил в 1915 году коммерческое училище, был призван в царскую армию, окончил Александровское военное училище, воевал с немцами на Юго-Западном фронте в чине подпоручика (а не прапорщика, как записано у меня в дневнике). В 1918 году добровольно вступил в Красную Армию, воевал с белополяками и с различными бандами, командовал взводом и ротой, был ранен. Окончил курсы усовершенствования штабных командиров и с отличием заочный факультет Академии Фрунзе. Изучил немецкий язык. Четыре года прослужил начальником строевого отдела штаба дивизии, два года командиром батальона, три года начальником штаба полка, четыре года помощником командира полка и два года командиром полка. В этой должности встретил войну. В аттестациях Кутепова за самые разные годы его службы единодушные в самых высоких оценках. 1928-й. «Способный штабной работник», «Хорошо знает дело», «Точен. Аккуратен. Дисциплинирован», «В намеченной идее упорен до конца. В трудные минуты умеет провести свою волю... Подлежит продвижению во внеочередном порядке».

1932-й. «Энергичен, инициативен, с твердой волей командира. Военное дело любит и знает». 1936-й – «В обстановке разбирается быстро и умело принимает решения». 1937-й – «Энергичен, работоспособный командир. Развит во всех отношениях». 1941-й – «Командуя полком, показал себя энергичным, волевым, культурным командиром. Личным примером показывает образцы настойчивости, дисциплинированности. Полк по боевой и политической подготовке занимает первое место среди частей корпуса, что неоднократно отмечалось при проверках».

Эта последняя характеристика подписана Ф.А. Бакуниным, командиром корпуса, в составе которого Кутепову предстояло подвергнуться той самой строгой из всех проверок, которая называется войной.

Читая личные дела полковника Кутепова, генерала Романова, да и некоторых других военных, превосходным образом проявивших себя в самые тяжелые дни 1941 года, я иногда испытывал чувство недоумения: почему многие из этих людей так медленно по сравнению с другими продвигались перед войной по служебной лестнице? Задним числом, с точки зрения всего совершенного ими на войне, мне даже начинало казаться, что в их медленном

предвоенном продвижении было что-то неправильное. Но потом, поразмыслив, я пришел к обратному выводу: это медленное продвижение с полным и всесторонним освоением, или, как говорят военные, «отработкой» каждой ступеньки как раз и было правильным. Именно такое продвижение, видимо, и привело к тому, что эти люди в тягчайшей обстановке первого периода войны все-таки оказались на высоте занимаемого ими к началу боев положения. Именно такое продвижение и должно быть в армии нормой. И такой нормой оно и было до 1936 года. А перестало быть начиная с 1937 года. И это привело в период войны к тяжелым последствиям.

Когда в 1937–1938 годах было изъято из армии подавляющее большинство высшего и половина старшего командного состава, за этим неизбежно последовало характерное для тех лет массовое перепрыгивание через одну, две, а то и три важнейшие ступени военной лестницы.

Нелепо было бы ставить это в вину людям, которых так стремительно повышали. Это было не их виной, а их бедой.

А от тех из них, кто не погиб в начале войны, потребовалось очень много труда и воли, огромные нравственные усилия для того, чтобы в условиях войны оказаться на своем месте, восполнив в себе все те неизбежные пробелы, которые образуются у человека при перепрыгивании через необходимые ступеньки военной службы.

Надо ли еще раз повторять, что, не будь у нас 1937–1938 годов, в армии с первых же дней войны на своих местах оказалось бы куда больше таких людей, как командир полка Кутепов или командир дивизии Романов.

Тогда, в 1941 году, на меня произвела сильное впечатление решимость Кутепова стоять насмерть на тех позициях, которые занял и укрепил, стоять, что бы там ни происходило слева и справа от него. Прав ли я был в своем глубоком внутреннем одобрении такого взгляда на вещи?

Вопрос сложнее, чем кажется с первого взгляда. Речь идет о том, выполнить или не выполнить приказ. Это не являлось для Кутепова предметом размышлений. Речь о другом – в сложившемся у меня чувстве, что этот человек внутренне не желал получить никакого иного приказа, кроме приказа насмерть стоять здесь, у Могилева, где он хорошо укрепился, уже нанес немцам и, если не сдвинется с места, снова нанесет им тяжелые потери при любых новых попытках наступать на его полк.

Немецкие генералы в своих исторических трудах очень настойчиво пишут о том, что, оставаясь в устраиваемых ими «клетках» и «мешках», не выводя с достаточной поспешностью свои войска из-под угрозы намечавшихся окружений, мы в 1941 году часто шли навстречу их желаниям: не выпустить наши войска, нанести нам невозполнимые людские потери.

В тех же трудах те же генералы самокритично по отношению к себе и одобрительно по отношению к нашему командованию отзываются о тех случаях, когда нам удавалось в 1941 году «своевременно», по их мнению, вывести свои войска из намечавшихся окружений и тем сохранить живую силу для последующих сражений.

В этих суждениях, конечно, есть своя логика. И все-таки, если брать конкретную обстановку начала войны, мне думается, что немецкие генералы не всегда в ладу с диалектикой.

Следовало ли нам стремиться в начале войны поспешно выводить свои войска из всех намечавшихся окружений? С одной стороны, как будто да. Но если так, то можно ли было в первые же дни войны отдать приказ о немедленном общем отступлении всех трех стоявших в приграничье армий Западного фронта. На мой взгляд, такой приказ в эти первые дни было бы невозможно отдать не только технически, из-за отсутствия связи, но и психологически.

Лев Толстой в своем дневнике 1854 года писал: «Необстрелянные войска не могут отступать, они бегут». Замечание глубоко верное; организованное отступление – самый

трудный вид боевых действий, тем более для необстрелянных войск, какими в своем подавляющем большинстве были наши войска к началу войны. Такое всеобщее отступление на практике в заранее не предусмотренной нашими предвоенными планами обстановке могло превратиться под ударами немцев в бегство.

Да, в 1941 году случалось и так, что мы бежали. Причем случалось это с теми самыми еще не обстрелянными тогда частями, которые впоследствии научились и стойко обороняться, и решительно наступать.

Но в том же сорок первом году многие наши части, перед которыми с первых дней была поставлена задача контратаковать и жестко обороняться, выполняли эту задачу в самых тяжелых условиях и именно в этих боях, а потом, при прорывах из окружения, приобретали первый, хотя и дорого обошедшийся им боевой опыт.

Если бы мы в первые дни и недели войны, избегая угроз окружений, повсюду лишь поспешно отступали и нигде не контратаковывали и не стояли насмерть, то, очевидно, темп наступления немцев, и без того высокий, был бы еще выше. И еще вопрос, где бы нам удалось в таком случае остановиться.

Нет нужды оправдывать сейчас все решения, принимавшиеся у нас в то время, в том числе и ряд запоздалых решений на отход или, в других случаях, противную здравому смыслу боязнь сократить, спрямить фронт обороны только из-за буквально понятого предвоенного лозунга «Не отдать ни пяди», который при всей его внешней притягательности в своем буквальном толковании на поле боя бывал и опасен и неверен с военной точки зрения. Однако думается, что реальный ход войны в первый ее период сложился как равнодействующая нескольких факторов. Сочетание наших отступлений, своевременных и запоздалых, с нашими оборонами, подвижными и жесткими, кровавыми и героическими, в том числе и длительными, уже в окружениях, предопределило и замедление темпа наступления немцев, и неожиданную для них несломленность духа нашей армии после первых недель боев.

И у меня, например, как у военного писателя, не возникает соблазна соглашаться с прямолинейно логическими концепциями в конце концов проигравших войну немецких генералов, которые задним числом считают, что в начале этой войны наилучшим для нас выходом было везде и всюду как можно поспешней отступать перед ними.

При самой трезвой оценке всего, что происходило в тот драматический период, мы должны снять шапки перед памятью тех, кто до конца стоял в жестоких оборонах и насмерть дрался в окружениях, обеспечивая тем самым возможность отрыва от немцев, выхода из «мешков» и «котлов» другим армиям, частям и соединениям и огромной массе людей, группами и в одиночку прорывавшихся через немцев к своим.

Героизм тех, кто стоял насмерть, вне сомнений. Несомненны его плоды. Другой вопрос, что при иной мере внезапности войны и при иной мере нашей готовности к ней та же мера героизма принесла бы еще большие результаты.

Глава шестая

Вернувшись в штаб корпуса, мы увидели там только начальника политотдела, который сказал нам, что торопится и не может уделить нам много времени. Мы спросили его, куда он едет. «Вперед», – сказал он и добавил, что, пожалуй, мог бы взять нас с собой.

Мы спросили: куда именно вперед? Он сказал, что едет в опергруппу дивизии на тот берег Днепра. Мы сказали ему, что только вернулись оттуда, из-за Днепра. Тогда он порекомендовал нам остаться еще на два-три дня у них в корпусе, так как, по его словам, их корпус будет проводить интересную операцию – завершать окружение немецкого десанта. Мы сказали, что подумаем, как поступить, и, простившись, пошли к машине посоветоваться.

По дороге к машине встретили комиссара корпуса. Он поздоровался с нами и спросил, что мы собираемся делать. Мы рассказали ему о том, что говорил нам начальник политотдела, и спросили совета.

– Да? Он вам так сказал? Ну что ж... – Бригадный комиссар задумался. – А вы что, собрали уже какой-нибудь материал?

Мы сказали, что собрали, и довольно много.

– Тогда я вам советую – поезжайте в Чаусы и в Смоленск. Впрочем, как хотите. Но я советую. Раз есть материал, надо ехать.

У него был вид человека, чем-то удрученного, может быть, и хотевшего сказать нам то, что он знал, но не имевшего права, и оттого принужденного говорить совсем другие, не относящиеся к сути дела слова. Но говорил он их так, словно хотел, чтобы мы все-таки поняли то, чего он не имел права нам сказать.

Мы решили послушать его совета и свернули с шоссе на дорогу, которая шла на Чаусы. Проехав по ней километров двенадцать, услышали впереди стрельбу, оружейную и пулеметную. Проехали еще немного, и нас на дороге остановили двое командиров в форме НКВД со шпалами на петлицах. Они сказали нам, что немцы высадили впереди десант с двумя танкетками, что ехать по этой дороге нельзя, что там дерутся с немцами их люди и что мы должны помочь. Надо высадиться здесь из машины, собрать людей и идти вперед.

Мы вылезли из машины. В это время сюда же подъехал и остановился грузовик с двумя десятками красноармейцев. Командиры из НКВД подошли к грузовику и потребовали, чтобы красноармейцы тоже высадились и шли с ними вперед. Лейтенант, командовавший красноармейцами, отказался это сделать, заявив, что ему приказали расположиться здесь и охранять дорогу. Пошли препирательства. Один из тех двух, что остановили нас, вытащил револьвер и наставил на лейтенанта.

Не знаю, кто из них был прав. Лейтенант был спокоен и бледен. Он сказал, что у него есть приказ быть здесь и он никуда отсюда не пойдет. Мне показалось в тот момент, что он не боится идти вперед, а действительно считает, что, раз у него есть приказ, он должен выполнить его в точности. И под дулом пистолета он продолжал упорно твердить, что не боится, если его застрелят, но нарушать приказа не будет.

Мы вмешались и прекратили эту сцену. Потом подъехал еще один грузовик с несколькими военными. К нам подскочил какой-то сержант, сказавший, что недалеко отсюда стоит их часть и в ней есть легкие противотанковые орудия. Мы посадили его вместе с Женей Кригером на наш «пикап» и отправили, чтобы они притащили сюда, на дорогу, одно орудие на тот случай, если действительно немецкие танки пойдут сюда; а сами цепочкой пошли вперед.

К этому времени нас осталось всего человек пятнадцать, потому что не успели мы оглянуться, как машина с красноармейцами и лейтенантом вдруг куда-то исчезла.

Пройдя с километр, мы дошли до опушки леса. Вдали справа была деревня, слева открытое поле и снова лес. Прямо на нас скакал всадник. Соскочив с лошади, он долго не мог отдышаться. Приехавший на коне был майор в форме НКВД, в машину, на которой ехал этот майор, попал снаряд с немецкого танка. Это были не танкетки, а два танка. Шофер был убит наповал, а майор, отлежавшись, выполз из-под огня и, захватив чью-то бегавшую по лугу лошадь, прискакал на ней сюда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.